

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
RAKSTI

707. SĒJUMS

Valodniecība

Slāvistikas tradīcijas Baltijā

SCIENTIFIC PAPERS
UNIVERSITY OF LATVIA

VOLUME 707

Linguistics

Slavonic Traditions
of the Baltic area

SCIENTIFIC PAPERS
UNIVERSITY OF LATVIA
VOLUME 707

Linguistics

Slavonic Traditions
of the Baltic area

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
RAKSTI
707. SĒJUMS

Valodniecība

Slāvistikas tradīcijas Baltijā

Udk 811.174(082)

Va 390

Galvenais redaktors *Dr. habil. philol. prof. Andrejs Veisbergs*

Redkolēģija

Dr. habil. philol. prof. Andrejs Bankavs (LU Moderno valodu fakultāte)

Dr. habil. philol. prof. Ina Druviete (LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte)

Dr. habil. philol. prof. Ingrīda Kramiņa (LU Moderno valodu fakultāte)

Dr. habil. philol. prof. Zaiga Ikere (Daugavpils Universitāte)

Dr. philol. prof. Jānis Silis (Ventspils Augstskola)

Dr. philol. prof. Igors Koškins (LU Filoloģijas fakultāte)

Dr. philol. asoc. prof. Lidija Leikuma (LU Filoloģijas fakultāte)

Dr. philol. asoc. prof. Silvija Pavidis (LU Moderno valodu fakultāte)

Dr. philol. asoc. prof. Olga Ozoliņa (LU Moderno valodu fakultāte)

Prof. **Aloizs Gudavičus** (Šauļu Universitāte, Lietuva)

Prof. **Krista Vogelbega** (Tartu Universitāte, Igaunija)

LU Rakstu 707. sēj. „Valodniecība. Slāvistikas tradīcijas Baltijā”

atbildīgais redaktors *Dr. philol. prof. Igors Koškins*

Krievu un vācu valodas tekstu literārā redaktore **Raisa Pavlova**

Latviešu valodas tekstu literārā redaktore **Anitra Pārupe**

Angļu valodas tekstu literārais redaktors **Imants Mežaraups**

Maketu veidojis **Jānis Misiņš**

Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti.

Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja.

Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

Contents

Елена Королёва

Лексика преильских говоров староверов (современное состояние)

Preiļu vecticībnieku izloksņu leksika (mūsdienās)

Old Believers Vocabulary of Preily Area (Present-day State) 7

Bogumił Ostrowski

Wyrazy z grupą spółgłoskową -dl- w Białoruskich gwarach grodzieńszczyzny

Vārdi ar līdzskaņu grupu -dl- I rodnas apgabala Baltkrievu izloksnēs

Words with the Consonantal Group -dl- in Byelorussian Dialects Around Grodno. 14

Елизавета Костанди

Отличительные особенности языка современной русской прессы Эстонии

Igaunijas mūsdienīgu krievu preses valodas īpatnības

Language Peculiarities of the Modern Russian Press in Estonia. 23

Игорь Кошкин

К проблеме славянско-латышских лексикологических сопоставлений

в диахронии (перевод Литовского статута 1588 г. на латышский язык)

Slāvu un latviešu leksikoloģisko salīdzinājumu problēmas diahronijā

(1588. g. Lietuvas statūtu tulkojums latviešu valodā)

Zum Problem der slawisch-lettischen Lexikologischen Vergleichen

in der Diachronie (Übersetzung der Litauischen Statuten von 1588 ins Lettische) 29

Галина Сырица

Сильные позиции текста в аспекте переводческих трансформаций

Tekstu veidojošie elementi tulkošanas transformāciju aspektā

Textstrukturierende Elemente im Aspekt der Transformation bei der Übersetzung 39

Светлана Муране

Глаголы звучания в оригинале и латышском переводе повести

М. Булгакова “Собачье сердце”

Onomatopēitiskie verbi M. Bulgakova stāsta

“Suņa sirds” oriģināltekstā un latviešu tulkojumā

Verbs of Sounding in the Original and Latvian

Translation of a Tale by M. Bulgakov “The Dog’s Heart” 46

Светлана Евстратова

К вопросу о функционировании вводных слов

Par modālo vārdu funkcijām

On the Functions of the Modal Words 54

Татьяна Стойкова

Шахматы в авторской картине мира: В. Набоков,

С. Кржижановский, М. Булгаков

Šahs autora pasaules redzējumā: V. Nabokovs, S. Kržižanovskis, M. Bulgakovs

Schach im Weltbild des Autors: V. Nabokov, S. Kržižanovskij, M. Bulgakov 60

Татьяна Куприянова

Опозиции “я – ты – они” как смыслообразующие компоненты

текста эпоса И. С. Шмелёва “Солнце мёртвых”

Opozīcijas “es – tu – viņi” kā I. S. Šmeļova eņopejas “Mīrušo saule”

nozīmes veidojošie teksta komponenti

Oppositions “I – You – They” as Meaning Forming Components

in the Epic by I. Shmelev “The Sun of the Dead” 68

Ирина Реброва

**Миф об аргонавтах в русской “исповедальной прозе” 60-х годов
XX столетия (на материале романа Василия Аксёнова “Звездный билет”)**

Mīts par argonautiem 20. gadsimta sešdesmito gadu krievu “grēksūdzes prozā”
(Vasilija Aksjonova romāna “Zvaigžņu bilete” materiāls)

*The Argonauts Myth in Russian “Confessional Prose” of the 60-ies of the
20th Century (by The Example of the Novel by V. Aksenov “A Starry Ticket”) 74*

Анатолий Кузнецов

**Усвоение местоименной флексии -ozo
прилагательными в древнерусском языке**

Vietniekvārda galotnes -ozo izplatīšanās krievu valodas īpašības vārdos

Adoption of the Pronominal Ending -ozo in the Old Russian Adjectives 80

Силвия Павидис

Рефлексы краткого слогового ие.

***j̥ в германских, балтийских и славянских языках**

Īsā zilbiskā līdzskaņa ide. *j̥ refleksi ģermāņu, baltu un slāvu valodās

*Reflexe der ide. Silbenbildenden *j̥ im Germanischen, Baltischen und Slawischen 86*

Ирина Диманте

Слова, которых мы стали стесняться

Vārdi, no kuriem mēs kautrējamies

Words we are Ashamed of 95

Жанна Борман

Особенности передачи семантики антропонимов

в переводе художественного текста

Antroponīmu semantikas atveides specifika literārā teksta tulkojumā

*Wiedergabe der Anthroponymsemantik
in der Übersetzung eines literarischen Textes 103*

**Лексика преильских говоров староверов
(современное состояние)
Preiļu vecticībnieku izlokšņu leksika (mūsdienās)
Old Belivers Vocabulary of Preily Area
(Present-day State)**

Елена Королёва

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte,
Vienības 13
kuznec@dau.lv

В статье анализируется современное состояние лексики преильских говоров староверов. Используется словарный материал и личные записи автора. Отмечаются инновации и архаические явления. Выделяется 5 типов инновационных процессов в лексике: заимствование из литературного языка заменяет диалектное слово; предметы уходят из обихода вместе с названиями; активизируются архаизмы; появляются новые слова; традиционная лексика используется для наименования новых предметов.

Ключевые слова: диалектный, лексика, старовер, современные процессы.

Современные говоры староверов Преильского района Латвии известны филологам благодаря диалектному словарю В. Н. Немченко, А. И. Синицы, Т. Ф. Мурниковой (1963). Словарь выполнен на достаточно высоком по тем временам лексикографическом уровне, однако существенным его недостатком является неполнота материала. Издан он небольшим тиражом – всего 550 экземпляров, поэтому сразу же стал библиографической редкостью. Существенно то, что это первый диалектный словарь, посвященный языку старообрядцев. В прежние годы официально упоминать об этих людях не было принято. Редактор М. Ф. Семенова в предисловии указала территории Прибалтики, куда бежали старообрядцы – Речь Посполитая (современные территории Литвы и юго-востока Латвии – Латгалии) и западное побережье Чудского озера. Материалы для словаря собирались авторами с 1956 по 1962 годы, и этот материал полувековой давности делает словарь уникальным. В настоящее время интенсивно изучаются культура, быт, язык, вопросы веры старообрядцев разных толков, проживающих в разных регионах, и всё-таки словарей по-прежнему мало (*Словарь* 1999). Сбор диалектного материала по старообрядцам, рассредоточенным по всему миру, и составление базы данных осуществляются под руководством Л. Л. Касаткина (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва). Но получить представление о языке староверов Преильского р-на мы можем только по указанному словарю.

М. Ф. Семенова писала, что *“живя довольно компактно, замкнуто и изолированно, сохраняя свои исконные особенности быта и родной язык, они* (староверы – Е. К.)

почти не подвергались влиянию окружающего местного иноязычного населения и сохраняли до последнего времени свою этническую и языковую самобытность” (Немченко 1963, с. 4). Надо сказать, что это утверждение могло бы стать целым направлением научного поиска современных диалектологов. Второй актуальной задачей можно считать сравнение зафиксированного на момент создания словаря состояния языка с современной речью староверов, третьей – сравнение современных говоров старообрядцев Латвии, Литвы и Эстонии, а четвертой – сравнение современных старообрядческих говоров Прибалтики с материковыми говорами.

Говоры Латвии в словаре представлены преильским диалектом, автор словарных статей – А. И. Синица. Записи диалектной речи производились ею в следующих деревнях Преильского р-на: Городок, Гульбинка, Большие и Малые Дзеркали, Дунтишки, Засеки, Капины, Лучкино, Мухты, Новины, Пальши, Пизани, Ребины, Сомерсет, Скандели, Стародворье. Эти материалы вошли в кандидатскую диссертацию автора. В 1974 году были изданы “Диалектные тексты» А. И. Синицы, где материалы словаря и статей по бытованию лексики отдельных тематических групп представлены в виде развернутых текстов. В 90-е годы уже под моим руководством студенты Даугавпилсского гос. пединститута (затем университета) провели 6 экспедиций в тот же район – в Аглону, Большие и Малые Дзеркали, Гайлиши, Гаршаны, Капины, Мыченки, Пизани, Преи́ли, Стародворье, Тишу, Шелепино, Яунаглону (далее материал наших экспедиций снабжается географическими пометами, а материал А. И. Синицы дается без помет, поскольку в словаре они отсутствуют). Кроме того, я в течение десяти лет записывала и изучала речь жителей д. Пизани. Имеющийся материал позволяет проследить динамику языковых изменений в лексике преильского диалекта, произошедших за сравнительно небольшой отрезок времени, насыщенный историческими событиями, имеющими эпохальное значение как для страны в целом, так и для каждого ее отдельного жителя. Лексика быстрее всего реагирует на все происходящие в обществе события, поскольку всё новое должно быть поименовано, названо, обозначено.

Для языка говоров характерно иное членение пространства и предметных областей по сравнению с литературным языком. В нем обычно наблюдается чрезмерная детализация в именовании предметов и понятий сельского быта. Литературный язык утрачивает эту особенность. Например, для обозначения родственных отношений наши современники-горожане используют все меньше и меньше слов. Даже такие слова, как *шу́рин*, *деверь*, *свояк* *свояченица*, *золовка*, не употребляются молодыми носителями литературного языка, и язык, естественно, обедняется. Материалы А. И. Синицы позволяют увидеть преобладание частного над общим в диалектном языке на примере различных тематических групп лексики, например, наименований домашних животных: *сюкочка*, *сюкалка*, *сюкалёнок* ‘маленький жеребенок’; *перезимок* ‘жеребенок на втором году жизни’; *боронка* ‘жеребенок на третьем году жизни’; *третьяк*, *в соху* ‘трехлетний жеребенок’; *проти́ятый* ‘лошадь на пятом году’; *коленка*, *коленочка* ‘теленка на втором году жизни’; *третьячка* ‘корова на третьем году жизни’; *нетель*, *неполная* ‘молодая, еще ни разу не телившаяся корова’; *яловка*, *яловая* ‘нестельная корова’; *молочник* ‘совсем маленький поросенок, питающийся молоком’; *подсвинок*, *подсвиньяк* ‘поросенок от одного до трех месяцев’; *порсюк* ‘поросенок от четырех до восьми месяцев’; *боров* ‘годовалый поросенок’; *килун* ‘нехолощенный самец’; *выкладыш* ‘холощенный самец’ (Синица 1970, с. 119-121); *зимарь* ‘поросенок, появившийся на свет осенью и оставляемый на зиму’ (Немченко 1963, с. 110). Современные староверы, живущие в Преильском районе, хорошо знают эти слова, но большая их часть уже находится на периферии языка и уходит из активного каждодневного употребления в пассивный

словарь. Наиболее употребительными в наши дни являются *боров, килун, нетель, подсвинок, яловка*. Реже используются *сюкалка, третьяк, третьячка, зимарь*. Как видим, почти все слова являются мотивированными. В целом для говоров характерен больший процент мотивированных слов по сравнению с литературным языком. Важным признаком диалектной лексики является образность. Яркая образность, экспрессивность, эмоциональность – качества, присущие фразеологизмам: *Дед, что с тобой есте? Разве тебе язык отобрало? Что ты молчишь?* (Пизани). *Один раз я сгадала, как ножиком врезала* (Гаршаны).

Вместе с изменением быта, развитием техники, урбанизацией уходят из речевого употребления и старинные названия. Некоторые из них уже во время полевых записей А. И. Синицы употреблялись только в рассказах о старине: *перун* ‘гроза, молния (по имени верховного божества славянского пантеона)’: *Яны с Перуна загорели, а дом был застрахованный. Как с Перуна вдарило, всё сгорело, и дочка в йих калеккой стала* (Немченко 1963, с. 216). Это касается и деталей окружающей природы, и всех сторон крестьянской жизни, кроме духовной сферы: *сороковины* ‘поминки по умершему на сороковой день после смерти’: *У староверов только сороковины отмечают и годовщину* (Яунаглона). Наибольшую сохранность обнаруживает лексика похоронного обряда: *“Мысль об устройстве земного социума была бы неполна, если бы она не имела в виду этой его невидимой части, ушедших, их непрерывающейся связи с живущими, их включенности не только в настоящее, но и в будущее – в земное будущее, как ни странно это звучит, – в движение истории к будущему”* (Седакова 2004, с. 278).

Диалектные материалы демонстрируют языковую рефлексию носителей, их реакцию на изменения в собственном языке и осознание того, что язык, на котором они говорят, отличается от языка жителей соседних деревень, языка городских жителей и сельской интеллигенции: *Отца – батя, не зовут папа, а батя; Тутака яма для картошки. Давней говорили гульба; Говорят крыжовник, а в нас ягREST; Не звали кухня, а перед; Веники висят на избы. Чердак – это уже по-городскому; Каменка в байны, а во рью – печка; Молотят привязям. Клеть – хлеб там сыпали; У нас по-русски кнут, а поляки – бизун; Зерно очищалось на первую руку рукам, потом пошли арфы, арфовали* (Синица 1974, с. 36); *Давней были рёлки, рёлка называли, а какая та рёлка – не помню, дед говорил рёлка ‘участок земли’* (Немченко 1963, с. 280); *Ставочка – раньше так называли писательную ручку*. (Б.Дзеркали); *Теперь старинные все поумерли*. Шлп.; *В жёрнах мололи и крупы драли*. (Прейли); *Венгерку, вальс, падыспань, я так и латыша танцевала, и русского танцевала* (Пизани).

Проследим на примере некоторых сфер крестьянской жизни изменения в лексике. Они могут быть разного характера, причины их возникновения тоже различны. Условно можно выделить следующие группы, отражающие эти изменения.

1. **Предмет или явление сохраняется, но меняется его название:** керосин называли *газом*, ручки для письма называли *ставочками, самотисками*, белку – *вавёркой, векшей*, солонку – *солницей*, участок земли – *вортой, пляцем, рёлкой*, прорубь небольших размеров, лунку – *тюшкой*. При этом часто наблюдается сосуществование старого и нового, своего и чужого (заимствованного): *белка – вавёрка, ваверка – векша*. Варианты с корнем *veveg- преобладают в западном поясе белорусско-украинской макрзоны, которая граничит с польскоязычной территорией, где, по данным Общеславянского лингвистического атласа, названия белки с данным корнем являются по существу единственными (Клетицова 1998, с. 290). По мнению О. Н. Трубачева, *“векша могла быть заимствованием из финно-угорского”* (там же, с. 292).

2. *Предметы уходят из употребления вместе с названиями.* Это самая многочисленная группа лексики, она охватывает номинации абсолютно из всех сфер современной действительности.

Наименования пищи: *молоко обливанное* ‘топленое молоко, в которое кладут творог, сметану’. *Обливанное молоко кипятят в печи, в большую посуду сливают вместе с творогом, остудят, то обливанное молоко зовут* (Синица 1963, с. 114). *Из-под камня молоко кислое* ‘название кушанья, которое готовят следующим образом’. *В кадки творог под камень ложут, положут доны, камень наверх, обливают сывороткой иль водой, то зовут ис-под камня молоко кислое* (там же, с. 115).

Названия одежды и обуви: *андарак* ‘широкое женское платье или юбка из материи любого цвета’, ‘изношенная или неаккуратная одежда’; *картунник* ‘сарафан из ситца’; *сак, сачок* ‘короткая женская одежда на вате’; *штофник* ‘сарафан из домотканой материи с клиньями, который носили в моленную’; *шубейка* ‘сарафан из ситца на шлейках со складками’; *рычки* ‘лапти из толстой кожи’.

Названия предметов быта и построек: *гасюлька* ‘самодельная керосиновая лампа без стекла’; *глячок, ляк* ‘жестяная емкость для хранения керосина’; *Кнотик туды впускают и тлеет – гасюлька* (Пизани); *низок* ‘блюдец’; *ночёвка* ‘выдолбленное из дерева корыто’; *суди* ‘два ведра воды, принесенные на коромысле’, к исчезновению этого слова привело, по-видимому, то, что из обихода крестьянской жизни исчезли коромысла; *плавки, поплавки* ‘скрепленные между собой две связки соломы или тростника, с помощью которых дети учатся плавать’; *Плавки делали с соломы, с плавкам купались давней, а мы уже плавали с доской* (Немченко 1963, с. 218); *пура* ‘старинная мера веса, три пуда’; *клеть* ‘амбар’; *склеп* ‘погреб’.

Наименования лиц по роду деятельности: *валильщик, валельщик* ‘специалист по изготовлению валенок’; *кадольник* ‘лесосплавщик’; *заводничий* ‘человек, знающий рыбные места, руководитель рыболовецкой артели’; *пешельник* ‘человек, пробивающий пешней лед’; *езель, мельщик* ‘мельник’; *мурицик, мурник* ‘печник’: *Мурициком это уже сами от себя учились* (Шнт); *зазывалы-кивалы* ‘(в городе) приказчики, приглашающие зайти в магазин’: *Зазывалы-кивалы, тольки покупай* (Большие Дзеркали).

Виды работ: *арфовать* ‘очищать зерно с помощью веялки’; *валить валенки, орать* ‘пахать землю’.

Обряды, обычаи: *вечерина* ‘собрание молодежи для развлечения’: *Вечерины справляли, днём по воскресеньям собирались, понаедет со всех виров.* (Пизани); *кирмаш* ‘ярмарка’; *супрядка* ‘посиделки’; *дожинки* ‘праздник по случаю окончания жатвы’; *покопки* ‘окончание копки картофеля’; *помолотки* ‘коллективная помощь при молотье’; *хлебины* ‘угощение в доме родителей невесты через неделю после свадьбы’.

3. *Активизируются слова, неупотребительные в советские времена.* Так, на смену волости как государственного учреждения и единицы территориального деления при советской власти пришли сельсоветы, земля перешла в собственность государства, наемный труд был запрещен. Изменения государственного устройства и условий жизни в современной Латвии привели к возрождению таких лексем: *волость; копец* ‘межевой знак’, *окопцевать* ‘обозначить границы земельных владений при помощи специальных межевых знаков’; *идти в работники, работать в хозяина.*

4. *Для обозначения новых реалий создаются новые слова, окказионализмы:* *автобусник, асфальтицик, барицик* ‘владелец бара’, *безработчий* ‘безработный’, *биржевик* ‘безработный, стоящий на учете на бирже труда’, *навученец* ‘студент’,

спонсориха, уборщик ‘мужчина, выполняющий работу уборщицы’, *ушелец* ‘человек, покинувший родные места’, *фотографщик* ‘фотограф’, *шибник* ‘человек, охотно выполняющий любую оплачиваемую работу’ или используются в новом значении обычные слова: *беглец* ‘нарушитель правил дорожного движения’. Некоторые из них утрачивают свою новизну, подхватываются всеми и становятся фактами диалектного языка. Иногда жизнь их оказывается совсем не долгой, они функционируют как слова-однодневки. Бывают случаи, когда слово, едва возникнув, тут же по воле случая или в силу исторических причин исчезает. Так, когда на смену лучин пришли керосиновые лампы, возникли и ее специальные обозначения: *гасюлька, сморкачка* ‘керосиновая лампа без стекла’, могло развиваться переносное значение в результате наименования целого по его части *стекло*: *Во хлев нужно было ходить со стеклом*. Кпн. Для обозначения машины скорой помощи использовались составные наименования: *врачебная машина, красный крест*: *Он видит, что это врачебная машина*. Агл. *Меня красным крестом увезли*. Грш. В сельских клубах начинают показывать кинофильмы, и для названия киномеханика в говоре возникает слово *кинщик*. Теперь закрылись почти все городские кинотеатры, на селе фильмы тем более не показывают, и слово исчезает из активного употребления. Непременного члена сельских посиделок в говорах называли *гармонщиком*, теперь сельская молодежь не танцует под гармонь, и слово забыто.

5. Новые предметы называются старыми словами. Так, *жаровней* называют тостер, а новые пятиэтажные каменные дома – *мурами*.

Процесс смены слов, происходящий в жизни одного поколения, можно проследить на примере тематической группы наименований лиц: *лавощик* (*щ* здесь, по-видимому, возникает по аналогии) – *магазинщик* – *барщик*. Наблюдается уменьшение наименований лиц по их трудовой деятельности, что связано с историей народных промыслов и ремесел, с их исчезновением, с социальными изменениями в обществе, в сельском хозяйстве, в системе землепользования. Представлены наименования лиц, занятых традиционным ручным трудом (*бондарь* ‘портной, шьющий шубы из овчины’, ‘человек, занимающийся изготовлением бочек’; *мурник* ‘печник’, *огородник, пилоточ, швец* ‘портной’). Возрождение ручного труда и использование наемных работников находит отражение в этой тематической группе лексики (показательно возрождение лексемы *работник*) (Королёва 2003, с. 134). Как видим, лексема *бондарь* окказионально развивает новое лексическое значение ‘портной, шьющий шубы из овчины’.

В лексике народных говоров обычно широко развиты синонимические отношения: *Смодел или обомлел – это одно и то же*. Пзн. Это непереносное свойство языкового знака в говорах достигает своего высшего воплощения. Как видно из приведенных примеров, часто одни и те же предметы называются по-разному. Это может объясняться взаимодействием говоров, использованием заимствований (результат языковых, культурных, экономических контактов), сосуществованием старых слов (историзмов и архаизмов) и новых слов, влиянием таких престижных разновидностей языка, как русский литературный язык и церковнославянский язык. В деревне Пизани мною записан такой пример: *Сажелка, где скот поили, с сажелки, с прудки, с канавы скот поили. Мочило или сажелка, или копанка – это одноё то же место, вода да земля выкопана*. Не названо в данном случае только одно слово с этим значением, встречающееся в прейльских говорах – *ставка*.

Говоры развивают оттенки значения, отсутствующие в литературном языке. Это находит выражение в особой сочетаемости слов, совпадающих с литературным языком: *Совет, когда явился, ликвидировали моленную*.

Пзн.;

Хозяин бывший явился.

Яунагл.;

Даст дождь, трава явится. Б.Дзр.

Современные говоры старообрядцев Латгалии имеют северную основу, исторически они характеризуются как говоры северного происхождения с некоторыми белорусскими особенностями. Эти говоры относят к собственно псковским говорам, продолжающим древнепсковский диалект, близкий к древним новгородским и смоленско-полоцким говорам. С современных позиций они классифицируются как говоры среднерусские, т.е. смешанные, объединяющие языковые черты говоров северного и южного наречия. Отражение северного происхождения говоров староверов Латгалии проявляется в том, что практически в любой тематической группе лексики наряду с повсеместно распространенными словами и словами, распространенными в новгородских и псковских говорах, встречаются лексемы, распространенные только в северных говорах. Например: *выкладать* ‘кастрировать самцов домашних животных’ (Синица 1970); *кокошник* ‘женский головной убор в виде шапочки, чаще из светлой материи, завязывался шнурком на затылке’; *кумушка* ‘спиртного напитка домашнего приготовления’: *Кто говорит кумушка, кто пиво, кто бражка; С ячменю работают кумушку; Кумушку с сахарю работают, воду закипятить, сахарю туда, дрожжи; штофник* в преильских говорах ‘косоклинный сарафан из домотканой материи’, в архангельских говорах ‘сарафан из шелковой узорчатой материи’; *шубейка* ‘сарафан’. *Штофник* и *кокошник* относят к севернорусскому комплексу женского костюма (Синица 1963, с. 120).

В целом, подводя итоги, следует отметить хорошую сохранность лексической основы староверческих говоров Преильского района, сохранение ими глубокой архаики. Однако существует тенденция, общая для всех русских говоров, к забвению лексем с частными значениями. Социальные процессы, происходящие в обществе и напрямую затрагивающие жизнь и само существование староверов в Латвии, влияют на жизнь слова: одни лексемы уходят на периферию языка в пассивный словарный запас, другие исчезают из языка, третьи возрождаются, четвертые развивают новые значения или уменьшают объем значений, появляются и инновации.

ЛИТЕРАТУРА

- Клепикова, Г. П. Названия белки *Sciurus*. В кн.: *Восточнославянские изоглоссы 1989*. Вып.2. Москва, 1998.
- Королёва, Е. Е. Словообразование имен существительных мужского рода со значением лица в старообрядческих говорах Латгалии и псковских народных говорах (история и современность). В кн.: *Псковские говоры: синхрония и диахрония*: Межвузовский сборник научных трудов. Псков, 2003.
- Немченко, В. Н., Синица, А. И., Мурникова, Т. Ф. *Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики*. Рига, 1963.
- Седакова, О. А. *Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян*. Москва, 2004.
- Синица, А. И. Бытовая лексика в говоре русского старожильческого населения Преильского района Латвийской ССР. В кн.: *Ученые записки. Серия филологическая*. Т. VIII, вып. 5. Даугавпилс, 1963.
- Синица, А. И. Названия домашних животных и птиц в говорах русского старожильческого населения Преильского и Даугавпилсского районов Латвийской ССР. В кн.: *Ученые записки: Серия филологическая*. Т. XXI, вып. 8. Рига, 1970.
- Синица, А. И. *Диалектные тексты*. Даугавпилс, 1974.
- Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забалькаля* [Словарь]. Новосибирск, 1999.

Kopsavilkums

Rakstā tiek analizēts Preiļu vecticībnieku izlokšņu leksikas mūsdienu stāvoklis. Autore izmanto vārdnīcu materiālu un savus ierakstus. Mūsdienu leksikā atzīmētas jaunās un arhaiskās parādības. Starp leksikas atjaunošanas procesiem izšķirami 5 tipi: aizguvums no literārās valodas aizstāj dialekta vārdu; priekšmeti aiziet no dzīves kopā ar saviem nosaukumiem; arhaismi aktivizējas; rodas jauni vārdi; tradicionālā leksika tiek izmantota jaunu priekšmetu nosaukšanai.

Atslēgvārdi: dialektu leksika, vecticībnieks, mūsdienu procesi.

Summary

The author analyzes the modern dialectal vocabulary of Old Believers of Preily (Latvia), represented in publications and author's records. Archaic features and innovations are described in the article. There are 5 types of lexical processes: literary word substitutes dialectal one; word disappears with its subject; archaism becomes active; new word appears in dialect; traditional word is used for nomination of new subject.

Key words: dialectal vocabulary, Old Believer, modern processes.

Wyrazy z grupą spółgłoskową *-dл-* w Białoruskich gwarach grodzieńszczyzny

Vārdi ar līdzskaņu grupu *-dл-* Grodņas apgabala baltkrievu izloksnēs

Words with the Consonantal Group *-dл-* in Byelorussian Dialects Around Grodno

Bogumił Ostrowski

Polijas ZA Slāvistikas institūts, Krakovas filiāle,
al. Mickiewicza 31, 31-120
Kraków bostr@wp.pl

W zebranym materiale znalazły się 33 formacje z grupą spółgłoskową *-dл-*, pochodzące z ludowych gwar Grodzieńszczyzny. Pod względem przynależności do kategorii semantyczno-tematycznej spora ich część to *nomina instrumenti*, co nie dziwi, zważywszy na pierwotną strukturalną funkcję sufiksu. Wśród pozostałych leksemów spotykamy nazwy części narzędzi, nazwy rzeczy lub materiałów remontowo-technicznych, nazwy żywności. W większości wypadków wyrazy zapożyczone z języka polskiego zachowują znaczenie podstawowe swego prototypu. Spora część wyrazów to bezsprzecznie polonizmy leksykalno-strukturalne, na co wskazuje brak na danym obszarze ich odpowiedników formalno-znaczeniowych. Obecnie sufiks *-dл-o* do tego stopnia wrósł w pejzaż derywacyjny gwar grodzieńskich, że stał się samodzielnym (utożsamianym z rodzimym) przyrostkiem, zdolnym tworzyć nowe (absolutnie nieznanne polszczyźnie) formacje.

Kluczowe wyrazy: zapożyczenia, grupa spółgłoskowa *-dл-*, sufiks *-(i)dlo*, język polski, język białoruski, gwary grodzieńskie.

Pogranicza językowo-kulturowe były i są nadal wdzięcznym i inspirującym obszarem badawczym dla językoznawcy, gdyż bezpośrednie sąsiedztwo graniczne dwóch lub większej ilości etnosów sprzyjało wzajemnym wielopłaszczyznowym relacjom. Jednym z takich obszarów jest pogranicze polsko-białoruskie. Wpływy polskie żywe są i dzisiaj w gwarach białoruskich i na odwrót - w gwarach Polski północno-wschodniej nie mało jest zapożyczeń z języka białoruskiego. Niebagatelny wpływ na taki stan rzeczy miał zapewne wspólny rozdział w dziejach historii Rzeczypospolitej Polskiej i Grodzieńszczyzny, która po dziś dzień pozostaje „małą ojczyzną” największego na Białorusi skupiska Polaków.

W niniejszym artykule zamierzam kontynuować zapoczątkowany w moich wcześniejszych publikacjach przegląd zapożyczeń z polszczyzny w białoruskich gwarach ludowych na Grodzieńszczyźnie, zaliczanych do białoruskiego dialektu południowo-zachodniego¹. Przypomnę, że do tej pory przedstawiłem szczegółowo te zapożyczenia leksykalne, w których widoczny jest wpływ fonetyki polskiej. Zwróciłem uwagę na fakt, iż w wielu takich adaptowanych „grodzienizmach”, cechujących się fonetyką polską, nie zawsze dało się autorytatywnie stwierdzić, czy konkretny wyraz to pożyczka *sensu stricto*², czy też polonizacja dokonana się wyłącznie na poziomie fonetyki. Dotyczyło to przede wszystkim tych

wypadków, gdy grodzieńskie wyrazy (albo formy wyrazowe) z jednej strony zachowały fonetykę polskiego etymonu, z drugiej zaś – poświadczane są ich regularne odpowiedniki (często rodzime kontynuanty prasłowiańskiej postaci) na własnym, czy to sąsiednim obszarze dialektalnym lub też w języku literackim (por. grodz. *мянт’овы*³ < pol. *miętowy* wobec rodzimego *м’ятны* < psł. **męt-*; *з’ембіць* ‘ziębić, mrozić’ < pol. *ziębić* wobec rodzimego *з-з’яблы* ‘zziębnięty’, *зяб’іцца* ‘marznąć’ < psł. **zēb-*). Wśród zapożyczeń tego typu udało mi się wyłonić pięć naznaczonych piętnem polskiego systemu fonetycznego kategorii wyrazowych. Grupę pierwszą stanowią słowa z samogłoską nosową w polskim etymonie: np.: *завэнда*, *выманчыць*, *заплёнтаць* (Ostrowski 2000: 199–205), drugą - grodzieńskie leksemy - z ortograficznym *rz* (psł. **r*’) w polskim prototypie - adaptowane na dwa sposoby: albo za pomocą grodzieńskiego fonemu *ż* (graficzne *ж*; por. *ажажовы*, *ужондзіць*), albo fonemu *r* (por. *раварыст*, *рондзіць*). W trzeciej grupie znalazły się polonizmy, etymony których cechuje istnienie samogłoski *ó* (tzw. pochylonego *o*): np. *здруй*, *прухніца*, *ружанец*, a z drugiej – *збойца*, *рожа*, *споўка*. Kolejna grupa, częściowo zbieżna z poprzednią, szeregowała wyrazy z polskim rezultatem rozwoju psł. grup **TārT* **TālT* **TelT*: *агроднік*, *блотнік*, *пlucaць*, *мячарка*. W ostatniej – zmieściły się przykłady adaptacji grodzieńskich zapożyczeń z polskim wynikiem realizacji psł. sonantów: *выдлужысь*, *одвільж*, *гардзель*, *стырчэць* (Ostrowski 2002–3).

W niniejszym artykule dokonam podsumowania wyników dotychczasowych badań nad wyrazami zawierającymi kontynuanty psł. grup **tl* (**tl*) i **dl* (**dl*)⁴ w białoruskim języku literackim i jego dialektach, z uwzględnieniem faktów języka starobiałoruskiego. W następnej kolejności zaprezentuję wszystkie tego typu wyrazy żywe po dziś dzień w białoruskich gwarach ludowych na terytorium Grodzieńszczyzny. Ekscerpcji podstawowego materiału dokonałem w oparciu o dane słowników: A. P. Cychuna (*Цыхун* 1993) oraz T. F. Ściaszkowicz (*Сцяшковіч* 1972, 1983) oraz monografii P. U. Ściacki (*Сцяцко* 1972). Posiłkowałem się przy tym również innymi źródłami leksykograficznymi, których pełny wykaz przedstawiam na końcu artykułu. Celem konfrontacji analizowanego materiału z danymi historycznymi, przytaczam – wszędzie tam, gdzie to możliwe – najstarsze białoruskie dokumentacje poszczególnych leksemów, czy form wyrazowych.

Jak powszechnie wiadomo, wspólną cechą południowo- i wschodniosłowiańską było uproszczenie dawnych psł. grup spółgłoskowych **tl* (**tl*) i **dl* (**dl*) w *l* (*l*), które w niezmiennionej postaci przetrwały u Słowian zachodnich. Stąd brus. *плэў*, *пляла* (pol. *plótl* – *plotla*), *мыла* (pol. *mydło*), *вілкі* (por. pol. *widły*, G. pl. *widel*, *widelec* itp.). Częste tu są polonizmy, np. *быдла*, *відэльцы*, *відэлкі*, *кавадла*, *маявядла*, *страшвядла*, *прасцірадла*, *мадлення* (por.: *Kuraszkiewicz* 1963: 14). Należy przypomnieć, że w zabytkach literatury starobiałoruskiej XVI – XVII w. znajdujemy zarówno przykłady wyrazów, zawierających charakterystyczną dla polskiego systemu grupę spółgłoskową *dl*, jak i ich rodzime odpowiedniki z uproszczeniem do *l*. Bułyko zauważa:

„У польскай фанетычнай абалонцы зрэдку фіксаваліся ў старабеларускай пісьменнасці канца XVI–XVII стст. многія іншыя словы, якія былі вядомы раней толькі ў сваёй спрадвечнай беларускай форме, параўн.: (...) *вендзидло* — *удило*, *вендлій* — *вялій* (...), *видлы* — *вилы*(...), *едла* — *ель*, *едло* — *еда* (...), *ггардло* — *горло*(...), *мдлету* — *млету*(...), *модлитва* — *молитва*(...), *мыдло* — *мыло*(...), *садло* — *сало*, *скридло* — *крыло*.” (Булыка 1980: 203–4).

Pewne obserwacje na temat polonizmów białoruskich, zawierających sufiksy *-isko* i *-dło* znajdujemy u L. Osowskiego (1937: 7–10), który zauważa, że pierwszy z nich jest rozprzestrzeniony w gwarach zachodnich Białorusi, gdzie znajdują się także inne ślady polskiego wpływu. Od teźże reguły odbiegają nieco gwary poleskie, gdzie sufiks *-isko* używany jest tylko w stylu wysokim (w mowie szlachty i panów), natomiast sufiks *-dło* wyszedł z powszechnego użycia. W innym artykule czytamy:

„Syfiksy *-dl-*, *-idl-* w białoruskim języku literackim są mało produktywne. Spotykamy je zaledwie w nielicznych wyrazach, np.: *kav'adla*, *pav'idla*, *vand'ina*⁵ itp. Natomiast w części gwar białoruskich sufiksy *-dl-*, *-idl-* są produktywnymi formantami słowotwórczymi. Tworzą rzeczowniki rodzaju nijakiego od podstaw czasownikowych i od rzeczowników oznaczających nazwy narzędzi itp. *hrab'idlo* (rejon berezowski), *cap'idla*, *hruz'idla* (rej. wileński, łagojski, głębocki, połocki), *matav'idla* (rej. nieświeski); *mażidla* (rej. łagojski), *šmarav'idla* (rej. kamieniecki), inne przedmioty: *žyh'adla* (rej. braclawski, wołkowyski) i inne. Tradycyjnie rozpatruje się białoruskie formacje z suf. *-dl-* jako pożyczki polskie⁶. Pogląd ten jest najprawdopodobniej słuszny tylko w odniesieniu do niektórych wyrazów, takich jak: *kav'adla*, *b'yidla*, *pav'idla* i kilku innych⁷. Większość przykładów, a zwłaszcza te, które należą do kategorii nomina agentis (sic!)⁸ typu *kos'idla*, *cap'idla* odzwierciedlają naszym zdaniem stare zjawisko wspólne dla sąsiadujących dialektów słowiańskich. Natomiast formacje z sufiksem *-dl-* w części dialektów białoruskich aż do naszych czasów można tłumaczyć wpływem polskim” (*Mackiewicz; Romanowicz* 1966: 87–8).

Dodatkowy interesujący z naszego punktu widzenia materiał leksykalny oraz ciekawe obserwacje zawiera praca Sciacki (1972). W rozdziale poświęconym polonizmom z przymiotami słowotwórczymi autor zauważa:

„Суфікс *-dl-a* (*idl-a*) на месцы ўсходнеславянскага *-л-а* (*il-a*): *kav'adla*, *б'ыдла* (...). Пад уплывам польскай мовы, на яе узор сталі афармляцца і некаторыя беларускія ці запазычаныя словы: *адзі'ядла* (з руск. *одеяло*, параўн. польск. *kołdra*), *зуб'ідла* (польск. *przecinek*), відаць, тут адыграла ролю аналогія, блізкасць слоў паводле прадметна-тэматычнай групыкі: польск. *toczydło* і *зуб'ідла*, польск. *prześcieradło* і *адзі'ядла*. Польскі словаўтваральны суфікс *-idl-* быў выкарыстаны пры ўтварэнні рэгіянальнага *прасаві'дла* (...) з значэннем ‘прас, жалязка’. Суфікс *-idl-a* стаў далучацца да асновы слоў, якія называюць ручныя прылады, і ўтвараць словы з значэннем – ‘дзяржанне, ручка’: *касідла* – ‘касільна’, *грабідла* – ‘грабільна’, *цапідла* – ‘цапільна’. У польскай мове гэту функцыю бярэ на сябе звычайна суфікс *-isko*: *cepisko*, *rydelisko*, *toporzysko*, *widlisko*, *grabisko*.” (*Сцяцко* 1972: 206–7)⁹.

Po wstępnych informacjach dotyczących stanu badań nad rozwojem formacji z sufiksem *-(i)dl-o* [*-(i)dl-a*] w języku białoruskim na przestrzeni dziejów, przechodzę do przedstawienia słownictwa zachowanego w białoruskich gwarach ludowych na Grodzieńszczyźnie, zawierającego w swej strukturze grupę spółgłoskową *-dl-*, niekoniecznie tożsamą sufiksowi *-dl-o*. Oto jak przedstawia się materiał:

адзі'ядла ‘kołdra’ (*Сцяцко* 1972: 206 - z ros. *одеяло* ‘kołdra’ – jako przekształcenie dokonane zgodnie z panującą na danym terenie normą słowotwórczą (suf. *-dl-* identyfikowany z rodzimym systemem derywacyjnym) na wzór bliskiego tematycznie pol. *prześcieradło*);

б'ыдло ‘bydło’ (*Сцяцковіч* 1972: 64), por. stbrus. (od XV w.) *быдло* (także *быдля*, *быдлятко*, *быдлярый*) (*Булыка* 1972: 54) < og.-pol. *bydło* ‘zwierzęta domowe’ < psł. zach. **bydlo* ‘miejsce pobytu, zamieszkania’ : **byti* ‘być’ (pierwotnie ‘to, co służy do życia’ (*Sławski* 1974: 113); por. też zbudowany w oparciu o temat rzeczownika czasownik *быдлава'ць* ‘odczuwać popęd seksualny, gonić się (o krowie)’ (*Цыхун* 1993: 24) < pol. dial. *bydłować się* ‘ts.’ (*Karłowicz* (I) 1990: 152);

вэндл'іна (*Сцяцковіч* 1972: 101) : *вяндл'іна* (o.c. 102), *вангл'іна* (o.c. 75) : *вянгл'іна* ‘wędlina’ (o.c. 102)¹⁰ < og.-pol. *wędlina*, dial. także *więdlina* (*Karłowicz* (VI) 1911: 123);

від'элец ‘widelec, rodzaj sztućca’ (*Сцяцковіч* 1972: 82; *Сцяцко* 1972: 78–9 tylko *від'эльцы* jako pl. tantum wg modelu poświadczonego również w gwarach okolic Zielwy na Grodzieńszczyźnie rodzimego rzeczownika *в'ілкі*) : stbrus. (XVII w.) *виделець* (*Булыка* 1972: 62) < pol. *widelec* (pl. *widelce*);

вандз'ідла 'wędzidło' (Цыхун 1993: 24), por. stbrus. *вендзидло* (por. rodzimą formację stbrus. *удило*) 'ts.' (Булыка 1972: 60; 1980: 203) < pol. *wędzidło* < psł. **qd-idlo* (: **da*);

зrab'ідла 'trzonek, kij do grabi = (gw.) *grabisko, grablisko*' (Сцяцко 1972: 207 - w sytuacji braku poświadczeń u Karłowicza (por.) autor słusznie uznaje wyraz za rodzimy twór właściwy gwarze zielweńskiej);

жыг'адла n. 'żądło': *Пішчала жыгadlo ўпусця, у йой смерці*' (Сцяцко 1972: 164) < pol. *żygadlo* (dial. *żgadło* (Indeks... (II) 1999: 635), *zygadło* (o.c. 628); por. też hiperpoprawne: *żegardło* 'pręcik żelazny przechodzący przez środek szpulki kołowrotka' (Karłowicz (VI) 1906: 439); stpol. od XV w. *żegadlo* 'narzędzie żelazne służące do piętnowania' (Słownik staropolski XI (2002): 579) : *żec* < psł. **žegti* 'palić; piec');

зуб'ідла 'przecinak': (Сцяцко 1972: 207 jako formacja analogiczna do bliskiego tematycznie pol. *toczydło*), por. także w rodzimej postaci *зуб'іла* 'stalowy pręt do wybijania otworów w płytach żelaznych' (Сцяцко 1972: 199);

кав'адла 'kowadło' (Сцяцко 1972: 206), także *кав'адло* : *кув'адла* n. (Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі... (II) 1980: 353), por. stbrus. (XVII w.) *ковadlo* (Булыка 1972: 159) < og.-pol. *kowadło*;

кас'ідла 'osada, trzon kosy = (gw.) *kosisko*' (Сцяцко 1972: 207 – widzi tu nowotwór lokalny); por. jednak pol. dial. *kosidło* (Indeks... (I) 1999: 287);

касав'ідла 'trzon kosy' (Сцяцко 1978: 47–8) – typ wariantywny do powyższego, nieproduktywny, neologizm grodzieński;

крас'ідло 'krzesiwo' (Сцяцко 1972: 240) : *крас'ідла* (Сцяцко 1972: 206) : *крэс'ідла* (Сцяцко 1972: 120) : *крас'адло*¹¹ (Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі... (II) 1980: 517) < pol. dial. *krzesidło* 'ts.' : *krzesiwo* : (Karłowicz (II) 1901: 494);

кран'ідло 'kropidło' (Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі... (II) 1980: 516) < pol. *kropidło* < psł. **kropidlo* 'narzędzie do kropienia': **kropiti* 'kropić' (Sławski 1974: 114);

маляв'ідла 'lakier, farba' (Сцяцко 1972: 280); por. stbrus. (XV w.) *малевати*: *малиовати* 'malować' (Булыка 1972: 196) < pol. *malowidło* 'dzieło malarskie, obraz malowany farbami (czasem z lekkim odcieniem ujemnym); Karłowicz nie notuje; jednak poświadczone w Indeksie... (I) 1999: 355: *malowidło, malowidelko, malowidła*. Uwagę zwraca zapomniane przez polszczyznę współczesną znaczenie wyrazu grodzieńskiego, które nawiązuje bezpośrednio do poświadczonego przez Lindego (obok 'malowanego coś, malowanie, obraz) – 'farba do malowania, barwidło' (Linde (III) 1857: 34); por. też z przełomu XIX/XX w. 'kosmetyk do malowania twarzy, barwiczka, rumienidło, róż, bielidło, blansz' (Słownik języka polskiego (II) 1902: 860);

матав'ідла (także w rodzimej postaci *матав'іла*) 'przyrząd do nawijania nici na motek' (Сцяцко 1972: 283) < pol. (też dial.) *motowidło* 'przyrząd służący do odmierzania i zwijania w motki nici, przędzy' (Karłowicz (III) 1903: 188);

м'ыдла : *м'ыдло* n. (także rodzime: *м'ыло*) (Сцяцко 1972: 292; (Сцяцко 1972: 121); por. stbrus. (XVI w.) *мыдло* (Булыка 1972: 211) < og.-pol. *mydło* < psł. **mydlo* 'coś służącego do mycia, prania' (Sławski 1974: 113);

падл'ога 'podłoga' (Сцяцко 1972: 17) < pol. *podłoga* (o czym dodatkowo świadczy wybuchowe „z”);

нав'ідла 'powidło' (Сцяцко 1972: 322) : *нав'ідло* (Сцяцко 1970/1: 75; autor uważa wyraz za stosunkowo nowy w gwarach, gdzie dotarł z języka literackiego) < og.-pol. *powi-*

dło (częśćiej *powidła* pl.) ‘smażone owoce (zwykle śliwy węgierki); konfitury’;

прав’ідла (Сцяцко 1972: 206, bez dokładnej lokalizacji i znaczenia) < pol. *prawidło* (też dial.) ‘przyrząd służący do prostowania, formowania czegoś; forma, szablon, szczególnie forma z drewna lub metalu o kształcie stopy ludzkiej, wkładana do buta dla utrzymania fasonu’, ‘trójkąt z żerdek do suszenia skór zwierząt dzikich’ (Karłowicz (IV) 1906: 340); dziś także ‘przepisy, zasady, normy’;

прасав’ідла : *прасав’ідло*¹² n. ‘żelazko’ (Сцяцко 1970/2: 127; 1972: 123, 232 wobec braku dowodów istnienia polskiego prototypu – por. pol. dial. *prasa* = *praska* ‘żelazko do prasowania bielizny’ (Karłowicz (IV) 1906: 338) – uznaje wyraz za twór rodzimy, utworzony na wzór rzeczowników z formantem *-dl-* pochodzenia polskiego). Należy jednak podkreślić, że w świetle najnowszych danych dialektologicznych (których to – z przyczyn obiektywnych nie mógł znać autor w chwili opracowywania swej monografii), formy *prasowidło*, *prasowidelko* znane są polskim gwarom (Indeks... (II) 1999: 131). W związku z powyższym hipoteza przedstawiona przez autora nie do końca musi być słuszna;

прасцір’адла ‘prześcieradło’ (Сцяцковіч 1972: 390), por. stbrus. (XVI w.) *простурадло* : *престурадло* (Булыка 1972: 267) < og.-pol. prześcieradło;

р’адло ‘radło’ (Сцяцковіч 1972: 413) < pol. *radło* ‘ts.’ < psł. **ordlo* = lit. *árklas* ‘socha, radło’ (Sławski 1974: 114); por. też oparty na temacie tego rzeczownika czasownik *радл’іць* ‘okopywać (ziemiaki)’ (l.c.);

св’ярдло (Сцяцковіч 1972: 444): *св’ярдзѣлак* = *свердзел* wobec techn. *сверло* (Сцяцко 1972: 145–6); por. pol. *świder*, dial. *świedrz*, *świedrzyk* ‘świder, świderek’ (Karłowicz (V) 1907: 365,) *świerdziolatek* (o.c. 366), *świerdło* (Indeks... (II) 1999: 381);

скр’ыдлы pl. ‘skrzydła’ (Сцяцковіч 1972: 455): *крыл’о* n. ‘skrzydło ptaka’ (o.c. 245); por. stbrus. (XVII w.) *скридло* : *скрыдло* (Булыка 1972: 300) < og.-pol. *skrzydło*, dial. także *krzydło* (Karłowicz (V) 1907: 161) < psł. (s)*kridlo* : ie. (s)*krei-*, lit. *skriėti skriejiù* ‘latać’ (Sławski 1974: 114);

страш’ыдла m. ‘straszydło’ (Сцяцковіч 1972: 475), por. stbrus. (XVII w.) *страшидло* (Булыка 1972: 309) < og.-pol. *straszydło* ‘ktoś lub coś o brzydkim, cudacznym wyglądzie, czupiradło, potwór, monstrum’, dawniej ‘ktoś wzbudzający strach; to co straszy (często o duchach, upiorach, zjawach)’;

сук’адла n. (wobec brus. liter. *сук’ала* ‘ts.’ ‘narzędzie do nawijania nitek’ (Цыхун 1993: 139; Сцяцковіч 1972: 479) < pol. dial. *sukadło* ‘narzędzie do nawijania nici na cewkę’: *sukać* ‘za pomocą kołowrotka przenosić nici przedzion na cewkę’ (Karłowicz (V) 1907: 261);

с’ядло ‘siodło’ (Сцяцковіч 1972: 488); ponieważ wyraz pochodzi z psł. **sed-ьlo* (pierwotnie inna budowa morfologiczna) : *sed-*, psł. **sedą sěsti* ‘siaść’, dokładny odpowiednik może w łot. *sedli* > *segli* m. pl. ‘sida’ < bałt. *sedula-* (Sławski 1974: 111) należy w nim widzieć rodzimą realizację połączenia *-d-ьl-*. Por. jednak zapożyczone z stpol. *седлицко* ‘siedlisko, siedziba, mieszkanie’ (Булыка 1972: 295);

тач’ыдла ‘przyrząd do ostrzenia’ = *тач’ыла* (Сцяцко 1970/2: 1972: 206), por. stbrus. (XVI w.) *точыдло* (Булыка 1972: 323) < pol. *toczydło* (dial. także *tocydło*) ‘kolisty kamień z piaskowca osadzony na osi nad korytkiem z wodą, i obracany kolbą przy ostrzeniu siekier, noży itp.’ (Karłowicz (V) 1907: 407–8);

цан’ідло (Сцяцковіч 1972: 536): *цан’ідла* n. ‘dzierzak u cerów’ (Сцяцко 1972: 207 – przytacza z Karłowicza (I) 1900: 166 s.v.: *cer*: *cepisko*); por. rodzimą postać *цан’іло* (Цыхун 1993: 157) oraz poświadczone – wbrew przypuszczeniom autora – polskie formy *cepido* : *cepilo* (Indeks... (I) 1999: 52);

цанавідла ‘dzierżak cepów’ (Сцяцко 1978: 47–8) – typ wariantywny do powyższego, nieproduktywny, neologizm grodzieński;

чунір’адла ‘straszydło, poczwara’ (Цыхун 1993: 164) < pol. *czupiradło* ‘osoba z rozczochranymi włosami’ (Sławski I, 1952–6: 127)¹³;

шмарав’ідла n. ‘smar do kół’ (Цыхун 1993: 169; Сцяшковіч 1972: 561) < pol. *smarowidło* ‘ts.’ < niem. *Schmeer, schmierem* (Brückner 1927: 503);

ш’ыдло ‘szydło’ (Сцяшковіч 1972: 569) : *ш’ыло* (: *ш’ыла*) (Сцяцко 1972: 159) < pol. *szydło* < psł. **šidlo* ‘narzędzie do szycia, szydełko’ : **šiti* ‘szyć’ : stwniem. *siula* < **siūdhlā* (Sławski 1974: 113–4) ; na uwagę zasługuje rodzimy neologizm semantyczny *шыд’элка* ‘duża, ciepła, wełniana chusta’ (Цыхун 1993: 173), czyli ‘rzecz wykonana na szydełku, poprzez szydełkowanie’.

Podsumowanie

W zebranych materiale znalazły się 33 formacje (nie liczyłem oddzielnie fonetycznych wariantów niektórych form oraz derywatów opartych na ich temacie, takich jak *быдлава’ць*, czy *шыд’элка*) z grupą spółgłoskową *-дл-*, pochodzące z ludowych gwar Grodzieńszczyzny. Dwa wyrazy to w istocie warianty formalne tego samego leksemu: *кас’ідла* : *касав’ідла* oraz *цан’ідло* : *цанавідла*. Zaledwie dwie formacje: *вэндл’іна* oraz *падл’ога* to polonizmy leksykalno-fonetyczne, o czym świadczy utrzymana w nich grupa spółgłoskowa *-дл-*, właściwa ich polskiemu etymonom. Pozostałe wyrazy (z wyjątkiem *сядло*, w którym względny etymologiczne każą widzieć suf. *-л-о* < psł. **-ьlo*) to rzeczowniki z sufiksem *-дл-о* (lub ich wariantem *і-дл-о*, czy - wyjątkowo - *а-дл-о*). Pod względem przynależności do kategorii semantyczno-tematycznej spora ich część to *nomina instrumenti*, co nie dziwi, zważywszy na pierwotną strukturalną funkcję sufiksu: *відэлец*, *вандзідло*, *жыгадла*, *зубідла*, *кавадла*, *матавідла*, *правідла*, *прасавідла*, *свардло*, *сукадла*, *тачыдла*, *шыдла*. Wśród pozostałych leksemów spotykamy nazwy części narzędzi (*грабідла*, *касідла* : *касавідла*, *цанідло* : *цанавідла*), nazwy rzeczy (*адзядла*) lub materiałów remontowo-technicznych (*малявідло*, *шмаравідло*), nazwy żywności (*навідло*; w tej kategorii tematycznej (nie strukturalnej!) umieścić trzeba również wyraz *вэндл’іна*). Wśród pozostałych wyrazów spotykamy zleksykalizowaną już na gruncie języka dawcy kolektywną nazwę zwierząt domowych *быдло*, anatomiczną nazwę *скрыдлы*. W przypadku zaledwie dwu leksemów: *страшыдла* i *чунірадла* można mówić o wartościującej, pejoratywnej funkcji sufiksu. W większości wypadków wyrazy zapożyczone z języka polskiego zachowują znaczenie podstawowe swego prototypu. Jedynie rzeczownik *малявідла* zachowuje jedno ze starszych, nie używanych już we współczesnej polszczyźnie znaczeń ‘barwa, kolor’. Ciekawym neosemantyzmem grodzieńskim jest rzeczownik *шыдэлка* ‘gruba chusta’. Obserwujemy tu przesunięcie na linii *nomen instrumenti* > *nomen rei*.

Warto zaznaczyć, że w kilku przypadkach zadomowione w gwarach grodzieńskich wyrazy o polskiej proveniencji posiadają swe odpowiedniki już w zabytkach piśmiennictwa starobiałoruskiego (np. *быдло*, *вендзидло*, *ковадло*, *простирадло*, *мыдло*, *скрыдло*). Inne, takie, jak *мдлети*, *мдлый*, *модлитва*, *жродло*, *стадло* (Булыка 1972: 200, 205, 115, 306) – funkcjonujące w języku starobiałoruskim, nie przyjęły się w języku ludu grodzieńskiego.

Spora część wyrazów to bezsprzecznie polonizmy leksykalno-strukturalne, na co wskazuje brak na danym obszarze ich odpowiedników formalno-znaczeniowych (np. *кавадла*). Nie sposób zawsze w sposób w pełni jednoznaczny określić status rzeczowników z sufiksem *-дл-* w omawianych gwarach. Moim zdaniem, wyrazy koegzystujące na tym samym obszarze lingwalnym z ich rodzimymi odpowiednikami (np. *матавідла* – *матавила*)

trudno uznać za zapożyczenia leksykalne *sensu stricto*. W takiej sytuacji polonizacja dotyczy wyłącznie formalnej (derywacyjnej) płaszczyzny języka, bądź też – w opisywanym przypadku – strukturalno-fonetycznej (gdyż dodatkowo brak oczekiwanego uproszczenia grupy *-dl- > -l-*). Innymi słowy, w sytuacji, gdy istniejącemu w zasobie leksykalnym danego systemu językowego (dialektalnego, gwarowego) desygnatowi w tożsamej etymologicznie, rodzimej postaci zostaje narzucona fonetyka lub struktura obcego systemu językowego nie należy – w moim przekonaniu – upatrywać w owym desygnacie zapożyczenia leksykalnego, lecz trzeba tu mówić jedynie o wpływie zewnętrznym języka dawcy (sąsiada) na określony poziom (fonetyczny, strukturalny, fleksyjny, itd.), bądź płaszczyzny (w naszym wypadku fonetyczno-strukturalną) języka biorcy.

Obecnie sufiks *-dl-o* do tego stopnia wrósł w pejzaż derywacyjny gwar grodzieńskich, że stał się samodzielnym (utożsamianym z rodzimym) przyrostkiem, zdolnym tworzyć nowe (absolutnie nieznanne polszczyźnie) formacje, czego bezspornymi przykładami są takie neologizmy, jak *адзядла, касавідла, цапавідла, czy грабідла*. Skutecznie konkurując ze swym rodzimym wariantem *-l-o*, nie zdołał – na szczęście – całkowicie wyprzeć tego ostatniego z systemu derywacyjnego, o czym świadczą takie rzeczowniki, jak *тварыло* ‘drzwi do piwnicy’ (Сцяшковіч 1972: 497) wobec stbrus. *творидло* ‘forma, praska do wyciskania sera, twarogu’ (Булыка 1972: 319) i pol. *tworzydło* ‘ts.’, *траніла* n. ‘detal tylnej części wozu, rozwora’ (Цыхун 1993: 144) i wiele innych.

LITERATURA

- Brückner, A. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Kraków, 1927.
- Булыка, А. М. *Далнія запазычанні беларускай мовы*. Мінск, 1972.
- Булыка, А. М. *Лексічныя запазычанні ў беларускай мове XIV – XVIII ст ст.* Мінск, 1980.
- Цыхун, А. П. *Скарбы народнай мовы*. Гродна, 1993.
- Гістарычна лексікалогія беларускай мовы*. Рэд. Баханькоў, А. Я., Жураўскі, А. І., Суднік, М. Р. Мінск, 1970.
- Indeks alfabetyczny wyrazów z Kartoteki „*Słownika gwar polskich*”. Red. J. Reichan. T. I–II. Kraków, 1999.
- Karłowicz, J. *Słownik gwar polskich*. T. I – VI. Kraków, 1900–1911.
- Kuraszkiewicz, Wł. *Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej*. Warszawa, 1963.
- Linde, S. B. *Słownik języka polskiego*. 2. wyd. T. I–VI. Lwów, 1854–60.
- Нарысы на беларускай дыялекталогіі*. Рэд. Р. І. Аванесов. Мінск, 1964.
- Mackiewicz, J.; Romanowicz, E. Przykłady różnic akcentowych w dzisiejszych dialektach białoruskich. In: *Slavia Orientalis XV*. S. Fiszman (red. tomu). Warszawa, 1966, 81–93.
- Osowski, L. Studia nad wpływami języka polskiego na białoruski. 1. Przyrostki *-isko* oraz *-dło* w gwarach białoruskich. In: *Sprawy Towarzystwa Naukowego we Lwowie*. T. XVII. Lwów, 1937, 7–10.
- Ostrowski, B. Wpływ polszczyzny na białoruskie gwary okolic Grodna. Adaptacja polskich wyrazów zawierających samogłoski nosowe. In: *Studia Russica XVIII*. Red. A. Zoltán. Budapest, 2000, 199–205.
- Ostrowski, B. Odzwierciedlenie niektórych elementów fonetyki polskiej w białoruskich gwarach grodzieńskich. In: *Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej*. 38, SOW, Red. K. Handke. Warszawa, 2002–3, 135–53.
- Sławski, F. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. T. I–V (łżywy). Kraków, 1952–82.
- Sławski, F. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego (cz. 1). In: *Słownik prasłowiański*. T. I. Red. F. Sławski Wrocław, 1974, 43–141.
- Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча*. T. I–V. Red. Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск, 1979–1986.
- Słownik języka polskiego*. Red. W. Niedźwiedzki, J. Karłowicz, A. Kryński. T. I–VIII. Warszawa, 1900–27.
- Słownik staropolski*. Red. S. Urbańczyk. T. I–XI. Warszawa – Kraków, 1953–2002.
- Сцяцко, П. У. (1970/1) *Народная лексіка*. Мінск, 1970.
- Сцяцко, П. У. (1970/2) *Дыялектны слоўнік* (3 гаворак Зэльвеншчыны). Мінск, 1970.
- Сцяцко, П. У. *Народная лексіка і словаўтварэнне*. Мінск, 1972.
- Сцяцко, П. У. Субстантыўныя словаўтваральныя дублеты ў беларускай народна-дыялектнай мове. In: *Беларуская лінгвістыка*, 12. Мінск, 1978, 45–53.

Сцяшковіч, Т. Ф. *Слоўнік Гродзенскай вобласці*. Мінск, 1983.

Сцяшковіч, Т. Ф. *Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці*. Мінск, 1972.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Т. I – V/2. Мінск, 1977, 84.

Skróty

dial. – dialektalne
 grodz. – grodzieński
 gw. – gwarowe
 ie. – indo-europejski
 itp. – i tym podobny (/e)
 lit. – litewski
 łot. – łotewski
 n. – neutrum
 np. – na przykład
 m. – masculinum
 o.c. – opus citatum
 og. – ogólno-
 pl. – pluralis
 pol. – polski
 por. – porównaj
 psł. – prasłowiański
 ros. – rosyjski
 stbrus. – starobiałoruski
 suf. – sufiks
 s.v. – sub verbo
 ts. – tak samo (to samo)
 wg. – według
 zob. – zobacz

Kopsavilkums

Rakstā ir iztirzāti 33 darinājumi ar līdzskaņu grupu –dl-, kuri ir sastopami Baltkrievijas Grodņas apgabala izloksnēs. Tie ir galvenokārt *nomina instrumenti*: tas ir saistīts ar piedēkļa pirmatnējo funkciju. Starp pārējiem darinājumiem ir sastopami darbarīku detaļu, priekšmetu vai tehnisko materiālu nosaukumi, pārtikas nosaukumi. Vairākos gadījumos vārdi ir aizgūti no poļu valodas, saglabājot savu prototipu pamatnozīmi. Lielākā daļa vārdu neapšaubāmi ir leksiskie polonismi, un šai teritorijā nav sastopamas šo vārdu atbilstības no formālā viedokļa un nozīmes viedokļa. Pašreizējais piedēklis -dl-o tik stipri iesakņojies Grodņas izlokšņu vārddarināšanas sistēmā, ka tas ir kļuvis par patstāvīgu elementu, ar ko tiek darināti jaunie, poļu valodā nezināmie vārdi.

Atslēgvārdi: aizguvums, līdzskaņu grupa -dl-, piedēklis -(i)dlo, poļu valoda, baltkrievu valoda, Grodņas izloksnes.

Summary

The author's intention is to continue the survey carried out in the previous publications. The study is focused on adopted from Polish language words in Byelorussian dialects around Grodno. They are reckoned to belong to the Byelorussian south-western dialect.

*The study gives a recapitulation of what has already been said about the studies on the group of Proto-slavonic words with *dl (*dl) in the Byelorussian literary style and its dialects, taking into consideration the essential facts about old Byelorussian language.*

Subsequently there are presented all types of the words mentioned above, which have been using so far in Byelorussian dialects around Grodno.

According to the material gleaned from a number of studies, there are 33 various forms of words, apart from phonetical variants of some their forms and derivatives based on the stem of the words such as быдлава 'ць or шыд'элка with a consonantal group -dl- coming from dialects around Grodno.

Key words: loanwords, consonantal group -dl-, suffix -(i)dlo, Polish language, Byelorussian language, dialects around Grodno.

Footnotes

- ¹ Нарысы па беларускай дыялекталогіі. 1964, 389–91.
- ² Mam tu na myśli wyraz zapożyczony w gotowej postaci, w którym bezsprzecznie daje się stwierdzić wpływ fonetyki lub słowotwórstwa obcego systemu językowego przy jednoczesnym braku poświadczeń ewentualnego odpowiednika na rodzimym gruncie.
- ³ Świadczy o tym asynchroniczna wymowa pol. samogłoski nosowej *ę* przed spółgłoską przedniojęzykowo-zębową oraz właściwy polskiemu systemowi przymiotnikowy sufix *-ov-*.
- ⁴ Więc także tymi, które nie mieszczą się w grupie leksemów z sufiksem *-(i)dl-*.
- ⁵ Wyraz błędnie włączony przez autorki do grupy wyrazów z suf. *-(i)dl-*, mimo że zawiera grupę *-dl-*. Będzie o tym mowa w dalszej części artykułu.
- ⁶ Autorki powołują się na następującą literaturę (cytuje): Карский, Е. Ф. Беларусы. Т. I. Вільно, 1904, 144–6; Граматыка беларускай мовы Т. I. Марфалогія. Мінск, 1962, 129.
- ⁷ Арашонкава А. Аб так званых паланізмах у беларускай мове. (Суфіксы *-dl-* і *-іск-*). In: Вестні АН БССР. Серыя грамадскіх навук. № 2. Мінск, 1963.
- ⁸ Zdaje się, iż wkraść się tu błąd. Autorkom chodzi najprawdopodobniej o kategorię ‘nomen instrumenti’, a nie ‘nomen agentis’. Wprawdzie — jak zauważa Sławski (1974: 113–14) — suf. *-dlo*, chociaż jest podstawowym formantem psł. nominów instrumenti, to obok prymarnego znaczenia narzędzia czynności spotyka się też (...) znaczenia sekundarne: miejsca czynności (por. *bělidlo* ‘środek do bielenia; miejsce gdzie się coś bieli’), czy nawet wykonawcy czynności (*brėkadlo* ‘brzękadło’: ‘gadula, papla’). Nie dotyczy to jednak - jak można wnosić z kontekstu - materiału leksykalnego przedstawianego przez autorki.
- ⁹ Zdaje się, iż wkraść się tu błąd. Autorkom chodzi najprawdopodobniej o kategorię ‘nomen instrumenti’, a nie ‘nomen agentis’. Wprawdzie — jak zauważa Sławski (1974: 113–14) — suf. *-dlo*, chociaż jest podstawowym formantem psł. nominów instrumenti, to obok prymarnego znaczenia narzędzia czynności spotyka się też (...) znaczenia sekundarne: miejsca czynności (por. *bělidlo* ‘środek do bielenia; miejsce gdzie się coś bieli’), czy nawet wykonawcy czynności (*brėkadlo* ‘brzękadło’: ‘gadula, papla’). Nie dotyczy to jednak - jak można wnosić z kontekstu - materiału leksykalnego przedstawianego przez autorki.
- ¹⁰ Wyraz zawiera wprawdzie grupę spółgłoskową *-dl-* (jednakże nie sufix *i-dl-*, jak błędnie interpretują ten fakt Mackiewicz; *Romanowicz* 1966: 88 - por.). O prastarej oboczności *wend-*: *wond-* p. *Brückner* 1927: 608 (s.v. *wędzić*); 620 (s.v. *więdnąć*), stąd zapewne różniące się fonetycznie warianty wyrazu *wędlina*: *więdlina*, będące substancywizowanym za pomocą suf. *-ina* participium *więdl-y* (por. *mięsa więdle*; ros. *вялый*: *вяленьий*). Uwagę zwraca jeszcze większa różnorodność form w gwarach grodzieńskich, zwłaszcza wariant *ванел’ина*: *вянел’ина*, z grupą *-zl-*. W dostępnych materiałach nie udało mi się wprawdzie znaleźć jej ewentualnego polskiego prototypu, jednakże samo zjawisko przejścia grupy *-dl-* > *-gl-* jest znakomicie znane polszczyźnie, por. dial. *mgleć* ‘mdleć’, *mglic* ‘mdlic’, *mgły* (*mgławy*) ‘mdły, mdławy’ (*Karłowicz* (III) 1903: 135).
- ¹¹ Uwagę zwraca wielość form gwarowych leksemu. W jednym wypadku mamy do czynienia z rzadkim w naszym materiale suf. *-a-dlo* z wyabstrahowaną samogłoską tematyczną (*-a-*) podstawowego czasownika.
- ¹² Wyraz znany jest na terenie całej Białorusi, poza Grodzieńszczyzną notowany też w gwarach na Czerwieńszczyźnie, Wicebszczyźnie i Mohylewsczyźnie.
- ¹³ Autor zwraca uwagę na istnienie ukr. *čuperádlo* (z *dl* tak jakby polskim). W naszym materiale jest to chyba jedyny przykład występowania przyrostka *-dlo* w funkcji pejoratywnej, wyraźnie wyczuwalnym w takich polskich derywatach, jak: *chamidlo*: *cham*, *sztuczydlo* ‘zła sztuka’: *sztuka*, *piśmidlo* ‘brukowiec, szmatława gazeta’: *pismo* ‘gazeta’, czy *filmidlo* ‘słaby film’: *film*.

**Отличительные особенности языка
современной русской прессы Эстонии**

Igaunijas mūsdienų krievu preses valodas īpatnības

**Language Peculiarities of the Modern Russian Press in
Estonia**

Елизавета Костанди
Tartu Universitāte,
Näituse 2-210, 50409 Tartu
jelizaveta.kostandi@mail.ee

В статье рассматриваются лексические, синтаксические, коммуникативные и нормативные особенности русской прессы Эстонии, отличающие ее от прессы предыдущего периода и от современной российской прессы. Эти особенности отражают общие черты языка русской диаспоры Эстонии.

Ключевые слова: современный русский язык, публицистика, Эстония, лексика, синтаксис.

Анализу газетного языка конца XX – начала XXI века посвящена обширная литература. Языковые особенности русской прессы Эстонии данного периода также не остались без внимания исследователей. Наиболее полно описаны процессы, происходившие в области лексики: деактуализация прежних значений и появление новых, изменение смысловых корреляций, возвращение историзмов и архаизмов, переход новых имен собственных в нарицательные, употребление просторечной и жаргонной лексики, появление новых слов, заимствование иноязычной лексики (*Евстратова* 2000). В ряде работ мы отметили также некоторые особенности русского газетного языка Эстонии (*Костанди* 1996; 1999; 2000). Отсутствие полного его описания объясняется, в частности, тем, что этот язык в течение последних 15 – 20 лет находился в процессе изменений. К настоящему времени наступил период относительной стабилизации, что позволяет сопоставить современный язык русской прессы Эстонии, с одной стороны, с предшествующим периодом, с другой – с российской прессой.

Как неоднократно отмечалось в исследовательской литературе, конец 80-х – 90-е годы – это период активных изменений в области лексики средств массовой информации (СМИ). Ушли целые лексические пласты, связанные с прежними реалиями, произошла деактуализация многих значений слов, появились слова, отражающие новые реалии. Отличительной чертой языка русской прессы Эстонии в этом плане стало появление новой и активизация старой лексики, называющей местные реалии: *Рийгикогу, мааконд, кайтселийт, кордник, уезд, волость, старейшина, основная школа, серопаспортники, госсобрание, негражданин, центристы, реформисты, умеренные*. Ряд особенностей такой лексики уже рассмотрен С. Б. Евстратовой (2000),

поэтому на данном вопросе останавливаться не будем, укажем лишь в дополнение на некоторые моменты. Объяснимо появление слов, словосочетаний, называющих, например, местные органы власти, общественные институты и т.п. Интересно, что при этом порой активизируется лексика, в современной России не активная (*уезд, волость, старейшина*). В ряде случаев в русском языке Эстонии и России происходят параллельные процессы, приводящие к одинаковым результатам. Так, например, словосочетание *основная школа* в русский язык Эстонии приходит как перевод из эстонского языка, в России это словосочетание сейчас используется с таким же значением, но появилось оно там, разумеется, без посредничества эстонского языка.

Следующей особенностью стала наблюдавшаяся на протяжении всего рассматриваемого периода тенденция, которая в настоящее время может быть определена как достаточно устойчивая, реализовавшаяся, – не ярко выраженная прагматизированность, оценочность, экспрессивность. Исчезла прежняя система оценок советского времени, когда в газетном языке широко использовалась общеоценочная и собственно газетная оценочная лексика. Средства оценочности в газетном языке советского периода представляли собой целостную систему (*Костанди 1987*), к настоящему времени разрушенную, хотя отдельные фрагменты ее порой и используются.

С другой стороны, сопоставление российской и эстонской русскоязычной прессы говорит о большей нейтральности последней. Анализируя развития современной российской публицистики, М. А. Кормилицына и О. Б. Сиротинина отмечают *«тенденцию к высказыванию авторской точки зрения и самовыражению (ярко выраженная оценочность речи, разнообразные приемы подчеркивания мнения и т. д.)»* и *«тенденцию к предельному снижению и даже огрублению публичной речи»* (*Кормилицына, Сиротинина 2001*, с. 259). Конкретное проявление отмеченных тенденций неоднократно рассматривалось в исследовательской литературе. Так, анализируя жаргонно-просторечные элементы в газетно-публицистической речи, А. С. Сычев говорит об использовании такой лексики, как *амбалы, кидалы, халява, выпендрезж, квасить, ширяться, параша, лажка, мочить, шмон, отморозки* и т. п. Автор приводит огромное множество такого рода примеров, что позволяет ему говорить, что *«в средствах массовой информации идет в последнее время бурный процесс снижения (огрубления) стилистической тональности газетных материалов в связи с широким использованием в них ненормативной лексики и фразеологии»* (*Сычев 1997*, с. 17).

В русской прессе Эстонии используется оценочная лексика, однако частотность ее использования и степень оценочности свидетельствуют о большей нейтральности. Встречаются редкие случаи употребления жаргонно-просторечной лексики, но общая картина выглядит иначе. Приведем некоторые примеры отдельных предложений, словосочетаний, слов, наиболее типичных с точки зрения выражения оценки, субъективной окрашенности:

(1) Но как сделать лекарства более доступными – молчок; Демагогия в красивой упаковке; Прелести зимы: переломы, вывихи, обморожения; нелегким трудом; достойно осуждения; перспективы расширения; призрак безработицы; сердцем и разумом; важные даты; краеугольный; кое-кто («Эстония» 7 февр. 2001).

Меньшая субъективная окрашенность, экспрессивность русской прессы Эстонии проявляются и в том, каковы наиболее частотные синтаксические конструкции, порядок слов, актуальное членение (АЧ) предложения и текста. Последний аспект уже рассматривался нами (*Костанди 1996*), приведем лишь основные результаты проводившегося ранее исследования.

Как показало сопоставление типов коммуникативных структур предложений русской прессы Эстонии и российской прессы, для последней более характерны

многочленные структуры, в которых есть несколько тем и рем разной коммуникативной значимости. Актуальная структура (АС) предложения оказывается более “размытой”, субъективно окрашенной, имеющей множество дополнительных оттенков значения. В местной русской прессе частотность использования таких АС меньше, число их еще более уменьшается в переводах с эстонского языка. Здесь явно доминируют более однотипные, «упорядоченные» АС. Такая особенность АЧ соотносится и с синтаксической структурой предложения: для российской прессы более характерны сложные или осложненные предложения с однородными и обособленными членами предложения, с вставными и вводными конструкциями и словами, с инверсией, что дополняется соответствующей лексикой. Отмеченные различия можно увидеть, сопоставив даже отдельные предложения, типичные для эстонской русскоязычной прессы (2) и для российской прессы (3):

(2) *Целую неделю ребята из эстонских и русских школ Хааберсти наблюдали за представлениями мастеров восточных единоборств прямо в стенах своих учебных заведений («Русская газета» 19 ноября 1996).*

(3) *Бог бы с ними, с лыжами, кабы не одно, безусловно, прекрасное обстоятельство: говорят, сам мэр испытывает очередную волну прилива нежных чувств к любимой супруге. И прилив этот стал чрезвычайно ощутимо отражаться на социально-экономическом развитии города-героя Москвы, одноименном бюджете и финансовых планах столицы, а также на судьбах высокопоставленных чиновников Московской мэрии («Российские политические портреты. Еженедельник» № 7 (82) 12 февр. 2001).*

Отмеченные различия наблюдаются при сопоставлении как текстов в целом, так и заголовков российской прессы и русской прессы Эстонии: первые более разнообразны и субъективно окрашены, вторые более нейтральны (Костанди 1999). Приведем наиболее типичные примеры:

(4) *«День за днем» 17 сент. 2004: Агония «Двигателя»; На конференцию мэров; Колледж выбирает местожительства; Спикер Рийгикогу встревожена; Посвящается дню Таллина; «Эстония» 7 февр. 2001: Поезда и автобусы поделят пассажиров; Не хватает машинистов; Где ночуют бездомные?*

(5) *«Комсомольская правда» 14 мая 2003: Нелегко живет страна Армения по причине недоразумения; Новая замена паспортов нам не грозит. Пока; Кто разнес кафе на старом Арбате; «К сексу надо подходить с иронией»; Вставай, страна огромная! («Наше время» № 13-14, 1992); Все на борьбу с эльцинизмом! («Молния» № 4, 1992).*

Кроме особенностей АЧ предложения, наблюдаются некоторые различия в АЧ текста, что проявляется в разной частотности использования способов связи тем и рем разных предложений и частей текста – типов тематических последовательностей (ТП). В указанных выше работах (Костанди 1996, 2000) по этому признаку сопоставлялись русские и эстонские газетные тексты. Для эстонской прессы более характерны два типа ТП: простая линейная, в которой предыдущая рема становится следующей темой (см. пример 6), и ТП с константной, то есть повторяющейся темой, к которой по мере развертывания текста присоединяются новые ремы (7). Эти типы ТП могут быть охарактеризованы как более явно формально выраженные, упорядоченные и простые, что вполне соответствует и более «строгому» АЧ предложению. Регулярно используются эти типы и в русской прессе Эстонии, однако здесь явно возрастает частотность использования тематической последовательности с производными темами, когда некоторая общая тема членится на ряд частных тем с частными же ремами (8). Этот тип может быть охарактеризован как более субъективно окрашенный, поскольку позволяет автору вводить попутные комментарии, добавочные темы и ремы, оценки, ср.:

(6) Ожидается, что в домах будущего главным домашним компьютером станет холодильник. Он автоматически будет отслеживать запасы продуктов и напитков, давать распоряжения в торговые центры о том, что и в каких количествах доставить, а владельцу сообщать, сколько калорий он поглотил за минувший день и во что они ему обошлись («Деловые ведомости» 26 сент.–2 окт. 2001).

(7) Мини-бары, представляющие собой стоящие в номерах небольшие холодильники, наполненные напитками и продуктами, конечно же, намного повышают комфорт проживающих. Однако в обычном исполнении они требуют немало хлопот со стороны обслуживающего персонала по постоянному контролю за их содержимым и пополнением запасов («Деловые ведомости» 26 сент. – 2 окт. 2001).

(8) Во вторник прошлой недели в ожидании надвигающихся праздников игроки естественным образом предпочли закрыть свои позиции и потому в этот день котировки российских акций снижались. Стоимость “Лукойла” потеряла в своем значении 1,94%, а сама акция закрылась на \$17,73. Цена сделок с акциями “Сургутнефтегаза” снизилась на 2,58% до \$0,378, котировки ЮКОСа - на 0,61% до уровня в \$9,76 («Деловые ведомости» 8–14 мая 2002).

Число структур третьего типа в российской прессе существенно увеличивается, например:

(9) 25 триллионов 206 миллиардов и 4 миллиона рублей – столько, по подсчетам Госкомстата, стоит национальное богатство России. Счетоводы взяли на карандаш все, из чего, чем и на чем куются материальные блага страны: станки и заводы, дома, пароходы. Пересчитан колхозный скот и даже ... наше с вами домашнее имущество. Большинство россиян и не ведают, что наша утварь, включая шифоньеры и сковородки, – это тоже богатство Родины! Аж 8 процентов! («Комсомольская правда» 23 янв. 2003).

Еще один аспект АЧ – тип рематической доминанты (РД) (Золотова 1979), то есть тип основного семантического признака, присущего большинству рем текста или его фрагмента. Находясь в позиции ремы и повторяясь, такой признак акцентируется и становится характеристикой целого текста или его части. Наиболее частотными РД в текстах русской прессы Эстонии в рассмотренном нами материале были два типа: статальная РД, при которой акцентируется некоторое относительно статичное состояние (внешнее, внутреннее и др.), и акциональная, когда на первый план выходят действие, его развитие, динамика. Эти же типы доминируют и в российской прессе, однако соотношение их разное: в проанализированном корпусе текстов эстонской прессы статальная и акциональная рематические доминанты составляют соответственно 45% и 37%, для российской прессы эти показатели 57% и 20%. Таким образом, и по данному показателю наблюдаются различия, соответствующие тому, о чем говорилось выше: в российской прессе возрастает доля субъективности, для выражения которой общий признак статики дает больше возможностей, в то время как акциональность в большей степени соотносится с развитием действия, а не его комментариями, с сюжетностью и, следовательно, информативностью.

Следующая особенность – влияние эстонского языка, в особенности – наличие переводов с эстонского языка, регулярных в русской прессе. В переводных материалах нередко самые разные ошибки: неправильное построение сложного предложения, неудачный выбор союзов и союзных слов, типа предложения, предлогов, вида глагола, лексики, пропуск сильноуправляемых зависимых слов и т. д., ср.:

(10) ...заявление центрального банка ни в коем случае не преследовало целью создать панику («Молодежь Эстонии» 15 янв. 2003);

(11) *Если же Эстония все же войдет в ЕС, нам придется равнять собственные интересы с интересами и подходами Скандинавских стран («Молодежь Эстонии», 13 февр. 2003);*

(12) *«Газели» – самые быстрые предприятия Эстонии («Деловые ведомости» 30 июня– 6 июля 2004).*

Влиянием эстонского языка обусловлено и широкое использование в русских текстах латиницы в названиях учреждений, фирм, организаций, банков и т. п., при этом часто для однотипных названий или даже для одного и того же названия в одном тексте могут использоваться разные написания, например:

(13) *Соглашение подписали временный руководитель литовской энергокомпании Lietuvos energija Дангирас Микалаюнас, президент латвийской Latvenergo Карлис Микелсонс, генеральный директор эстонской компании Eesti Energia Гуннар Окк, президент белорусской Belenergo Евгений Мишук и председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс («Эстония» 11 сент. 1997).*

В приведенном примере можно увидеть еще одну особенность современной русской прессы Эстонии – разноречивость в использовании кавычек.

Не столь явным оказывается влияние перевода там, где собственно ошибки может и не быть, но используются не характерный для русского языка порядок слов или синтаксические конструкции с чрезмерным нанизыванием падежных форм существительных:

(14) *Как для конечного потребителя услуги, так и для оператора связи включение оборудования тарификации и учета продолжительности разговора с целью определения стоимости последнего происходит тогда и лишь тогда, когда телефонное соединение возникло («Деловые ведомости» 11–17 апр. 2001).*

Влияние эстонского языка наблюдается и в частотности использования словосочетаний определенного типа. Так, в русской прессе Эстонии высокочастотны конструкции, использующиеся и в российской прессе. Анализируя такие конструкции, как *ток-шоу, шоп-тур, пресс-служба, топ-модель, бизнес-клуб, маски-шоу, джаз-фестиваль*, В. Г. Костомаров делает вывод, что *«в современном русском языке складывается новый тип определительных словосочетаний или же составных слов»* (Костомаров 1996, с. 216). В русской прессе Эстонии действует дополнительный фактор, влияющий на частотность использования таких конструкций, – перевод с эстонского языка, для которого такие атрибутивные конструкции типичны. При этом один из компонентов может передаваться латиницей, ср.:

(15) *Rakvere котлеты; Meieri нудинги; водка Saare; Adaverе колбаса («Ostuleht»/Покупательская газета/ 15 авг. 1999).*

Наконец, в упоминавшихся выше лексических изменениях также зачастую наблюдается именно влияние эстонского языка.

Таким образом, современный русский газетный язык Эстонии по ряду признаков отличается и от языка предшествующего периода, и от языка российских СМИ. Это лексические особенности, синтаксические, прагматика, разные аспекты актуального членения и влияния перевода. Изменениям подвергаются в первую очередь наиболее “подвижные” элементы языковой системы, допускающие вариативность.

ЛИТЕРАТУРА

- Евстратова, С. Особенности функционирования лексики в русскоязычной прессе Эстонии. *Труды по русской и славянской филологии: Лингвистика. Новая серия III. Язык диаспоры: проблемы и перспективы.* Тарту, 2000.
- Золотова, Г. А. *Роль ремы в организации и типологии текста: Синтаксис текста.* Москва, 1979.
- Кормилицына, М. А., Сиротинина, О. Б. Тенденции развития средств современной публицистики. Русский язык: исторические судьбы и современность. *Международный конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы.* Москва, 2001.
- Костанди, Е. И. *Языковые средства выражения прагматической направленности газетного текста* [на материале хроникальной информации]. Дисс. ... канд. фил. наук. Тарту, 1987.
- Костанди, Е. Коммуникативная структура предложения и текста в русском и эстонском языках. *Emakeel ja teised keeled II. Ettekanded.* Tartu, 1996.
- Костанди, Е. И. Некоторые синтаксические особенности газетного текста [на материале русскоязычной прессы Эстонии]. *Valoda-1997. Humanitārās fakultātes VII zinātniskie lasījumi.* Daugavpils, 1999.
- Костанди, Е. Некоторые особенности социокоммуникативной обусловленности порядка слов [на материале русской прессы Эстонии]. *Труды по русской и славянской филологии: Лингвистика. Новая серия III. Язык диаспоры: проблемы и перспективы.* Тарту, 2000.
- Костомаров, В. Г. «Изафет» в русском синтаксисе словосочетания? *Словарь. Грамматика. Текст.* Москва, 1996.
- Сычев, А. С. Жаргонно-просторечные элементы в газетно-публицистической речи. *Городская разговорная речь и проблемы ее изучения. 2.* Омск, 1997.

Kopsavilkums

Rakstā tiek aplūkotas Igaunijas krievvalodīgās preses leksiskās, sintaktiskās, komunikatīvās īpatnības, kas atšķir šīs preses valodu no iepriekšējā laikposma preses valodas, kā arī no Krievijas mūsdienu preses valodas. Šīs īpatnības atspoguļo Igaunijas krievu diasporas valodas kopīgās iezīmes.

Atslēgvārdi: mūsdienu krievu valoda, publicistika, Igaunija, leksika, sintakse.

Summary

Examination of the author's works and the other investigations are represented in the given article. These works are dedicated to the analysis of the language peculiarities in the Russian press of Estonia: from one side, the changes are fixed which took place during last years and are remarkable for the Russian press in Estonia in our days and existed in the Soviet period. From the other side, the characteristics were considered which differ Russian press in Estonia from the mass-media in Russia. The author of the given article pays attention to the general tendencies only in the development of press, because the both aspects demand a special analysis. The main peculiarities are connected with the lexical, syntactic and textual levels and are represented by specific "local" words and syntactic constructions, word order, actual division of the sentence, organization of the text and its pragmatics.

Key words: modern Russian language, Estonia, Russian press, lexical, syntactic levels of language.

К проблеме славянско-латышских лексикологических сопоставлений в диахронии (перевод Литовского статута 1588 г. на латышский язык)

Slāvu un latviešu leksikoloģisko salīdzinājumu problēmas diahronijā (1588. g. Lietuvas statūtu tulkojums latviešu valodā)

Zum Problem der slawisch-lettischen lexikologischen Vergleichen in der Diachronie (Übersetzung der Litauischen Statuten von 1588 ins lettische)

Игорь Кошкин

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte,
Visvalža 4a, Rīga, LV-1050
igors.koskins@lanet.lv

“Статут Великого княжества Литовского” 1588 года как памятник старобелорусского (западнорусского) делового языка представляет собой позднесредневековый юридический текст, актуальный для истории и культуры Латвии. Одним из факторов, способствующих тому, чтобы этот текст был введён в научный обиход в Латвии, является его перевод на латышский язык. В лингвистическом плане это перевод с мёртвого славянского языка, ограниченного временем и сферой употребления, на живой литературный язык. Предметом рассмотрения в статье является историко-лексикологический анализ специальной и терминологической лексики в аспекте перевода. Кроме того, анализ лексики юридического текста на старобелорусском языке даёт ценный материал для изучения исторических контактов латышского языка с другими славянскими языками.

Ключевые слова: памятники славянских литературно-письменных языков, сравнительно-историческая лексикология, славянские заимствования в латышском языке, историко-лексикологические корреляции в аспекте перевода.

Текст “Статута Великого княжества Литовского” 1588 г. был впервые напечатан в 1588 г. в Вильно, в типографии Мамоничей. Печатное издание текста (в дальнейшем СтЛ 1588) хранится в Латвийской Национальной библиотеке, в Отделе редких изданий (LNB, Reto izdevumu nodaļa, R K3S/273). Текст был также опубликован на основе первого печатного издания в середине XIX века во “Временнике Общества истории и древностей Российских” (в дальнейшем СтЛ 1588-II). СтЛ 1588 представляет собой собрание законов государственного, гражданского и криминального права, которые действовали с 1589 г. на территории Великого княжества Литовского, а после объединения Белоруссии с Россией – на территории Витебской и Могилёвской губерний до 1831 г., на территории же Виленской, Гродненской и Минской губерний до 1840 г.; в XVII веке СтЛ 1588 был переведён на немецкий язык, использовался в судах Латвии и

Эстонии (*БелСЭ 1974, с. 58*). Важно подчеркнуть, что СтЛ 1588, будучи кодексом права Польско-Литовского государства, должен был действовать и на территории части Латвии, находившейся под юрисдикцией этого государства в так называемые “польские времена” (“poļu laiki”) (*Balodis 1991, с. 78-79*). Как известно, в ходе Ливонской войны и борьбы за территории и имущество Ливонии, Лифляндия как бывшая часть Ливонии оказалась с 1561 г. по 1625 г. под властью государства, объединившего Великое княжество Литовское и Польшу, под властью Речи Посполитой. Юго-восточная же часть Латвии – Латгалия (*Latgale*) оставалась под властью Польши свыше 200 лет; она отошла к России после первого раздела Польши (1772 г.) и впоследствии была включена в состав Витебской губернии. В предисловии к “Статуту” польский король Сигизмунд III (*Жикгимонтъ третій*), дарующий свод законов своим подданным, именуется, в том числе и как король *ифлянтьский* (*СтЛ 1588–II, с. 3*). В основе СтЛ 1588, который является третьим «Статутом Великого княжества Литовского», лежат тексты первого “Статута” 1529 г. и второго “Статута” 1566 г., действовавших в Великом княжестве Литовском в середине и второй половине XVI века (*БелСЭ, 1974, с. 58*). Тексты “Статутов”, несмотря на большое количество полонизмов, являются памятниками старобелорусского письменного языка, его деловой разновидности. Этот язык, несомненно, продолжал традиции древнерусского делового языка, отразившего западные его диалекты, но функционировал самостоятельно на бывшей западной территории Древней Руси в составе Великого княжества Литовского и Польско-Литовского государства. Очевидно, имея в виду традицию, А. И. Соболевский называл этот язык западнорусским деловым языком (*Соболевский 1980, с. 70*). Однако нельзя не указать на тот факт, что в научной литературе существует терминологическое разнообразие по поводу названия административно-письменного языка Великого княжества Литовского; при этом признаётся целесообразным употреблять самоназвание – «руская мова» (*Miakiszew 2000, с. 165–172*). На обилие полонизмов, «чистых» и «переделанных», в языке этих текстов указал А. И. Соболевский (1980, с. 71). Подобные полонизмы характеризуют и текст “Статута” 1588 г.¹: *водлуꙗꙗ тоѣ ꙗставы нашеѣ ... маѣтъ брати* [судебные пошлины] *должен брать согласно нашему постановлению*’ (*СтЛ 1588, л. 130*), ср. польск. *według* ‘по, согласно’; *a бы ꙗсидинъ ч(е)л(о)в(ѣ)къ в томъ паньстве нашомъ... не смѣлъ новы(х) мытъ вымышляти* ‘чтобы ни один человек в государстве нашем не выдумывал новых пошлин’ (*СтЛ 1588, л. 36–37*), ср. польск. *żaden* ‘никакой, ни один’; *те(ж)е) обѣцуюмъ и бꙗдемъ повинѣни кождому... прꙗдкꙗю а неѡ(т)волочную справедливость ꙗчинити* ‘также обещаем и будем должны каждому предоставлять скорое и неотвратимое судебное разбирательство’ (*СтЛ 1588, л. 36*), ср.: польск. *prędkі* ‘быстрый, скорый’ и т. д.

Если рассматривать текст “Статута” 1588 г. с точки зрения перевода на латышский язык, то в корреляции «оригинал – перевод» изложенная информация определяет историческую специфику языка оригинала. С другой стороны, необходимо учитывать факторы, связанные с языком перевода. Прежде всего, это специфика, связанная с адекватной корреляцией в области специальной и терминологической лексики, что имеет чрезвычайно большое значение при переводе юридического текста отдалённой эпохи. К факторам, объективно влияющим на трудности перекодирования с языка оригинала на язык перевода, принадлежит формально-смысловая асимметрия участков грамматических систем двух языков. В данном случае это, например, перевод типичных для языка права конструкций, выражающих модальность долженствования. “Внешним” фактором, определяющим также специфику данного перевода, является то, что это перевод с мёртвого славянского языка, ограниченного временем и сферой употребления, на живой литературный язык, приобретший в ходе своего развития такие характеристики, как полифункциональность и поливалентность. Рассмотрим проявление первого названного фактора подробнее.

Специфика, связанная с корреляцией в области специальной и терминологической лексики, проявляется по-разному. Эта разница обуславливает и разные решения с точки зрения перевода. Сопоставим два контекста из СтЛ 1588 с их переводом:

I. [Роздел 1], артыкЪль 1. вси обыватели великого кня(з)ства лито(в)ского ты(м) одны(м) право(м) писанымъ и ѡ(т) насъ даны(м) сужоны быти маю(т).

Напродъ мы г(оспо)д(а)ръ обецЪемъ и шлюбуемъ, по(д) тою жь присегаю, которую Учынили есмо всимъ обывателемъ всихъ земель паньства нашего великого кня(з)ства лито(в)ского, ижъ всихъ княжатъ пано(в) радъ дЪхо(в)ныхъ и светъски(х), пано(в) хорЪго(в)ныхъ шлѣхту, мѣста, и всихъ по(д)аныхъ нашихъ, и всихъ стано(в) в томъ па(н)стве нашомъ великомъ кня(з)стве лито(в)скомъ, и иныхъ всихъ земель, здавна ку тому паньству прислЪхаючыхъ, почонъшы ѡ(т) вышъшого стану а(ж) до ни(ж)шого, тыми одными правы и а(р)тыкулы, в томъ же статутѣ ниже(и) писаными, и ѡ(т) насъ даными судити исправовати маемъ. Такъ же чужоземцы заграничники великого кня(з)ства литовьского, приезъдчые, и ѡкимъ ко(л)векъ обычаемъ прибылые люди, тымъ же правомъ маю(т) быть сЪжоны, и на тыхъ врадѣ хъ гдѣ хто выступитъ (СтЛ 1588, л. 1).

I. [1. Nodaļa], likumpants 1. Visi Lietuvas lielkunigaites pilsoņi ir tiesājami ar šo vienotu no Mums dotu likumkodeksu [Statūtiem].

Mēs, lielkungs (gospodars), apsolām un aņņemamies uz priekšdienām, dodot to pašu zvērestu, ko esam apstiprinājis Mūsu valsts Lietuvas lielkunigaites visu zemju visiem iedzīvotājiem, ka visi lielie pani (kņazati), valsts padomes (pany rada) baznīcas pani un laicīgie pani, karogu pani, šļahtas cilvēki, pilsētnieki un visi Mūsu pavalstnieki, no visām kārtām šajā Mūsu valstī Lietuvas lielkunigaitē un citās visās no seniem laikiem šai lielvalstij piederošajās zemēs, sākot no augstākās kārtas līdz pat zemākajai kārtai, būs tiesājami ar šiem vienotiem likumiem un šajos statūtos zemāk rakstītajiem likumpantiem, kas ir no Mums doti. Arī ārvalstnieki, Lietuvas lielkunigaites svešinieki, iebraucēji un jebkurā veidā atnākušie cilvēki būs tiesājami pēc šiem likumiem un tajās tiesās (vrjados), kur kas stāsies priekšā;

II. [Роздел 12], артыкЪль 4. голо(в)щины навезки тивЪномъ ключнико(м) во(и)томъ старце(м) лавнико(м) сельски(м).

...таковому предсъ головщина маеть быти водлугъ станЪ шлѣхетского, а навезки тивуну ключникЪ во(и)ту старцу по три рубли гроше(и) (СтЛ 1588, л. 488).

II. [12. Nodaļa], likumpants 4. Izpirkuma nauda par slepkavību (golovščina) un soda nauda (navezka), kas attiecināmas uz muižu pārvaldniekiem (tivuny), saimniecības pārziņiem (kļučniki), uz voitiem, stārastiem, [tiesas] piesēdētājiem

...Bez tam attiecībā uz tādu [cilvēku] golovščinai jābūt kā šļahtai piederošajam, un navezkas tivunam, kļučnikam, voitam, stārastam ir trīs rubļi grašu.

Специальная лексика в тексте “Статута” 1588 г. связана со сферой общественного устройства, политической структурой, системой налогов, видами преступлений и системой наказаний, с военной организацией. Длительные исторические контакты латышского языка с русским на разных этапах его существования, региональные контакты латышского языка с польским и белорусским языками, наконец, сам факт включённости носителей латышского языка и его диалектов в административно-политическую и судебную-правовую системы, где господствовал в качестве официального другой язык (соответственно русский или польский), привели к тому, что в лексике латышского языка сформировался целый пласт заимствований, включающий славизмы и русизмы, многие из которых (в определённых своих значениях) стали историзмами и архаизмами. Некоторые примеры:

лтш. *soģis* '(vēst.) feodālisma – augstākais tiesnesis, teritorijas pārvaldnieks; arī *foģts* [(ист.) при феодализме – верховный судья, правитель на определённой территории; также фогт]' (*LLVV VII₂ sēj.*, 68. lpp.), ср.: дрп. *судия, судии* 'судья (должностное лицо)' (*Срезневский СДРЯ* т. III, с. 596);

лтш. *sodīt* '(jur.) rakļaut (kādu) sodam [(юрид.) назначить наказание]' (*LLVV VII₂, sēj.*, 66. lpp.), ср.: дрп. *судити* 'разбирать дела, тяжбы; решить, постановить; определить, назначить' (*Срезневский СДРЯ* т. III, с. 597-599);

лтш. *prāva* '(jur.) tiesas process [(юрид.) судебный процесс]' (*LLVV VI₂ sēj.*, 345 lpp.), ср.: дрп., стр. '1. установление, закон, 2. юрисдикция, право суда, 3. свобода действий, власть, 4. обязательство, 5. присяга' (*Сл. РЯ XI-XVII вв.* т. XVIII, с. 115);

лтш. *vojevoda* '(vēst.) karavadonis, arī pilsētas vai apriņķa priekšnieks (Krievijā 16.-18. gadsimtā) [военачальник, также глава города или округа (в России XVI-XVIII вв.)]' (*LLVV VIII sēj.*, 561. lpp.), *vojevodiste* 'воеводство' (там же), ср.: дрп., стр. *воевода* '1. воевода, военачальник, 2. лицо, представляющее высшую (чаще военную) власть на местах' (*Сл. РЯ XI-XVII вв.* т. II, с. 261);

лтш. *kņazs* '(ист.) князь', *kņaziste* '(ист.) княжество' (*LLVV IV sēj.*, 285. lpp.), ср. дрп. *князь (кѣнязь)* 'правитель княжества (удела, земли); государь, монархический правитель в древней Руси и зарубежных государствах' (*Сл. РЯ XI-XVII вв.* т. VII, с. 207-208).

Подобные лексемы и производные от них встречаются и в тексте СтЛ 1588, например: *одинъ ключъ бѣдетъ ѿ сѣды* (*СтЛ 1588*, л. 142), *воеводове, старостове Ѹкраиньные* (*СтЛ 1588*, л. 27), *мае(т) быти поставле(н)... пере(д) право(м)* (*СтЛ 1588*, л. 34) и т. д. При переводе названий сословий, административно-политических должностей и т. п. могут использоваться существующие в латышском языке фонетически и морфологически освоенные заимствования в тех случаях, где такие лексемные соответствия имеются: *шляхта* – *šļahta* (*KLV II sēj.*, 1024. lpp.), *пан* – *pans* (*KLV II sēj.*, 10. lpp.), *шляхтич* – *šļahtičs* (*KLV II sēj.*, lpp. 1024), *воевода* – *vojevoda* (*KLV I sēj.*, 159. lpp.), *староста* – *stārstas* (*KLV II sēj.*, 742. lpp.), *князь* – *kņazs* (*KLV I sēj.*, 633. lpp.), *гроз* – *grasis* (*KLV I sēj.*, 310. lpp.), *войт* – *voits* (*KLV I sēj.*, 169. lpp.). При этом следует отметить, что случаев с использованием заимствований на основе полной корреляции встречается немного. Это объясняется тем, что, с одной стороны, отсутствуют подобные соответствия на лексемном уровне, а с другой стороны, могут наблюдаться расхождения между коррелятивными лексемами в ономаσιологическом плане.

Большинство названий не имеют никакого отражения в лексике латышского языка, даже в пассивном словаре. При переводе средневекового юридического текста такие специальные слова приходится транслитерировать, сопровождая описательным переводом. Эти лексические единицы в числе прочего отражают специфику старобелорусского делового языка:

кглейт 'охранная грамота' – *drošības dokuments (gleits)*; *здрадца* 'предатель, изменник' – *nodevējs (zdradca)*; *кгерунт* 'земельный участок' – *zemes gabals (grunts)*; *вряд* 'власти; суд; должность' – *varas iestāde, tiesa, amatpersona (vrjads)*; *врядник* 'должностное лицо великокняжеского управления' – *augstākā ranga amatpersona (vrjadniks)*; *ключник* 'управляющий "ключом", т.е. большим именем, в состав которого входило несколько сёл и служб' – *saimniecības pārzinis (kļučniks)*; *виж* 'лицо, ведущее дознание или следствие, выполняющее также обязанности судебных исполнителей' – *persona, kas veic tiesas izmeklētāja vai tiesas izpildītāja funkcijas (vižs)*; *хоружий* 'начальник "хоругови поветовой", т.е. ополчения повета, которое имело своё войсковое

знамя' – *apriņķa (povjeta) karaspēka priekšnieks, karavadonis (horužijs); паны рада* 'совет как главный государственный орган; лица, входящие в состав этого совета' – *valsts padome kā augstākā vara, valsts padomes pani (pāny rada); госнодарь, госнодар* 'великий князь литовский' – *Lietuvas lielkungs (gospodars); головицина* 'выкуп за убийство, за голову человека' – *izpirkuma nauda par slepkavību (golovščina); навезка* 'пеня, вознаграждение потерпевшему за причинённый убыток или вред' – *soda nauda (navezka); позов, позвы* 'повестка с вызовом в суд' – *tiesas pavēstes (pozvy)* и т.д.

Ср. примеры употреблений слов в тексте (кроме слов, встречающихся в приведённых выше фрагментах I, II): *если бы(х)мо мы г(осно)д(а)рь к(ле)у(т)омъ своимъ кого Ѹбеспечили...* 'если бы мы, государь, выдали кому охранную грамоту...' (СтЛ 1588, л. 18), *если бы здр(а)ца комѸ именье заставиль або продалъ...* 'если бы изменник кому-то своё владение заложил или продал...' (СтЛ 1588, л. 8), *гдебы се трафило в ыме(н)яхъ нашихъ споръ и ро(з)ница между крѸн(т)ами нашими* 'если бы во владениях наших произошли спор и несогласие по поводу наших земельных участков' (СтЛ 1588, л. 25), *ω врьаднико(х) дворьныхъ* 'о врьадниках двора' (СтЛ 1588, л. 27), *вижѸ на кождѸю речъ взѸтомѸ... грошъ одинъ...* 'вижу за каждое судебное дело... один грош...' (СтЛ 1588, л. 144), *а хорѸжи(у) земски(у) и дворьны(у) мають быти въ Ѹрьадехъ своихъ* 'а хоружий земский и хоружий придворный должны быть в своих врьадах' (СтЛ 1588, л. 48), *через листъ отвороны(у) того то врьадѸ, которого бѸдѸтъ позвы...* 'по листу отворонному (открытому листу), выданному тем врьадом, от которого будут повестки в суд' (СтЛ 1588, л. 9).

Наличие подобных специфических лексических единиц в тексте СтЛ 1588 свидетельствует также о влиянии польского языка. Ср.: польск. *glejt* 'w średniowieczu dokument wydawany przez panującego, zezwalający danej osobie na przejazd przez jakieś terytorium, zapewniający bezpieczeństwo osobiste; list bezpieczeństwa, list żelazny' ['в средневековье выданный правителем документ, разрешающий данному лицу проезд по какой-либо территории и подтверждающий личную безопасность; охранная грамота, лист железный'] (SJP t. I, s. 615); польск. *zdrayca* 'ten, kto zdradza, przechodzi na stronę nieprzyjaciela, kto wydaje kogoś nieprzyjacielowi' ['тот, кто предаёт, переходит на сторону неприятеля, кто выдаёт кого-либо врагу'] (SJP t. III, s. 931); польск. *grunt, grunty* 'obszar własności ziemskiej' ['участок земельной собственности'] (SJP t. I, s. 657); польск. *kluczник* '(hist.) niższy urzędnik ziemski w dawnej Polsce' ['(ист.) земский чиновник низшего ранга в старой Польше'] (SJP t. I, s. 878); польск. *urząd* '1. organ władzy publicznej o określonym zakresie działania; zespół osób wykonujący te zadania 2. pomieszczenie, w którym się znajdują te instytucje; biuro, kancelaria 3. funkcja, stanowisko, obowiązki pełnione przez kogoś w hierarchii, państwowej lub innej' ['1. орган общественной власти в определённой сфере деятельности; группа лиц, выполняющая эти задачи 2. помещение, в котором находятся эти учреждения; бюро, канцелярия' 3. должность, обязанности, выполняемые кем-либо в государственной или иной иерархии] (SJP t. III, s. 575); польск. *nawiazka* '(praw.) kara pieniężna stanowiąca rodzaj odszkodowania za wyrządzoną krzywdę moralną lub ból fizyczny; wynagrodzenie, zadośćuczynienie' ['(юрид.) денежный штраф, представляющий собой вид возмещения за причинённые моральный ущерб или физическую боль; вознаграждение, удовлетворение'] (SJP t. II, s. 288).

Многие лексемы, встречающиеся в СтЛ 1588 как памятнике делового языка, относятся, по-видимому, к общей лексике белорусского, украинского и польского языков, т. е. языков, принадлежащих ареалу Великого княжества Литовского, например, *врьадъ* имеет соответствия – польск. *urząd* (см. выше), бел. *урад* 'правительство' (БРС, с. 962), укр. *уряд* '1. должность, 2. управление, правительство' (Гринченко СУМ т IV,

с. 353). Некоторые лексические единицы по формальным признакам следует отнести к польским заимствованиям. Например, на полонизм *здрядца* ‘изменник’ указывает суффикс /-ц-/ < */-ьс-/ для обозначения лиц мужского пола (*Карский* 1956, с. 32). Ср. бел. *здряднік* ‘изменник, предатель’ (*БРС*, с. 335) при *здрода* ‘измена’ (*СтЛ* 158, л. 24), бел. *здрода* ‘измена, предательство’ (*БРС*, с. 335), укр. *зрада* ‘измена, вероломство’ (*Гринченко СУМ* т. II, с. 182). Конечно, проблеме польского влияния в историческом развитии лексики белорусского и украинского языков посвящена обширная научная литература, однако анализ этого вопроса не входит в проблематику данной статьи.

Наличие большого числа терминов и связанная с этим необходимость их транслитерации и толкований при переводе обусловлены, в том числе и высокой степенью дифференцированности юридических понятий, отражённых текстом. Часто весь смысл статьи закона базируется на одном, вполне конкретном юридическом понятии. Например, ключевым словом-термином статьи 23 раздела 7 является лексема *заводца* ‘первоначальный законный владелец имущества, по поводу которого велось судебное дело’ – *iepriekšējais īpašnieks (zavodca)*:

-- *хтобы кого позваць оименьє , а позваны(и) заводьцу 8 права ставиль* (*СтЛ* 1588, л. 328).

-- *Ja kāds citu izsauktu uz tiesu sakarā ar īpašumu, bet atbildētājs liktu stāties tiesas priekšā iepriekšējo īpašnieku (zavodca), kurš viņam šo īpašumu nodevis.*

В тексте СтЛ 1588 г. некоторые специальные слова, восходящие к соответствующим лексемам древнерусского делового языка, имеют другое терминологическое значение. Это обусловлено историческими реалиями Великого княжества Литовского и влиянием лексико-семантической системы другого языка (старобелорусского делового, а не древнерусского) с большим количеством смежных терминов и названий.

Если подобные слова “Статута” имеют соответствия в латышском языке в виде лексем, представляющих собой заимствования с устоявшимися значениями, транслитерация и перевод по смыслу таких слов становятся необходимыми. Например, слово *княжаты* ‘крупные феодалы Великого княжества Литовского’ (см. фрагмент I) – *lielie paņi (kņazāti)* образовано от дрп. *князь* (ср. лтш. *kņazs*) при помощи суффикса -ат- < *-ēt-. Словообразовательное значение, унаследованное из праславянского языка, связано с названиями детей и молодых животных (*Мейе* 2000, с. 294), ср.: дрп. *отроча* < **otročę* (форма Nom Sg) ← **otroкъ*. В памятниках собственно древнерусского языка (XI–XIV вв.), согласно данным СДРЯ, производное слово *княжата* не зафиксировано. В Сл. РЯ XI–XVII вв. слово *княжа*, *княжата* (форма Pl) ‘1. потомок владетельного князя удельной поры; в XV–XVI вв. – сын родовитого титулованного боярина, с начала XVII века – дворянина, 2. владетельный князь некоторых европейских стран’ зафиксировано только в контекстах после XIV века (*Сл. РЯ XI–XVII вв.* т. VII, с. 202). Очевидно, в слове *княжаты*, обозначавшем потомков западнорусских и литовских удельных князей, произошло изменение значения суффикса с полным отрывом от первоначального словообразовательного значения.

Слово *тивун* ‘управляющий феодальным двором, имением’ (см. фрагмент II) – *tiviži pārvaldnieks (tivuns)* принадлежит терминологической лексике древнерусского языка, откуда оно, очевидно, и вошло в старобелорусский деловой язык. В памятниках древнерусского языка, восточнославянских языков слово характеризуется широким спектром значений: *тиунъ*, *тивунъ* ‘1. слуга, домочадец, 2. дворецкий, домо- вый управитель, особая должность при князьях, боярах и епископах, 3. должностное лицо по управлению города или местности, 4. правитель’ (*Срезневский СДРЯ*, т. III, с. 961–963). Как историзм данное слово фиксируется в белорусском языке – *цiвун* ‘тиун,

тивун' (БРС, с. 1002), однако оно не зафиксировано в цитируемых словарях польского (SJP) и украинского (Грінченко СУМ) языков. Опираясь на данные "Этимологического словаря русского языка" М. Фасмера, можно предположить, что в языках, распространённых на территории Великого княжества Литовского, данное слово закрепилось в значениях, близких к тому значению, в котором оно выступает в СтЛ 1588: укр. *тивон* 'надзиратель', бел. *цівун* 'служащий, управляющий именем', польск. *ciwun*, *ciun* 'коморник' (ЭСРЯ, т. IV, с. 63). Как известно, дрр. *тиун* является древнесеверногерманским заимствованием (там же), и семантический признак 'слуга; служить' напрямую связан со значением соответствующего слова в языке-источнике и, очевидно, с этимологическим значением германского слова. Дрр. *тиун* этимологически соотносится с глаголами германских языков (нем. *diēnen* < двн. *thionōn*, дсканд. *þjōna*), которые возводятся к прагерманскому существительному **þrewa-* 'раб; слуга' и соответственно в древнегерманских языках имели значение 'быть слугой' (EWD S. 224). Древнерусские значения представляют собой постепенное "улучшение" значения, так как речь идёт о слугах князя, боярина и т.п., т.е. о слугах, которые одновременно были приближёнными представителями власти, ср. в тексте "Русской Правды" – *тивуна князя* 'княжеский тивун', *тивунъ боярескъ* 'боярский тивун' (Срезневский СДРЯ, т. III, с. 961-963). Ср. также приводимые в "Материалах для терминологического словаря древней России" обозначения, зафиксированные в памятниках древнерусского языка: *тиун боярский*, *тиун великого князя*, *тиун владычен*, *тиун волочный* 'тиун по волоку', *тиун дворский* 'дворецкий', *тиун княжий*, *тиун конюший* 'тиун, ведающий конюшим ведомством', *тиун митрополич*, *тиун монастырский*, *тиун наместника*, *тиун огнищный* (огнищане 'знать, ближние слуги князя'), *тиун посельский*, *тиун ратный*, *тиун сельский княжий* (Кочин, 1937, с. 214, с. 361). Актуальное для СтЛ 1588 значение слова *тивун*, *tivuns* свидетельствует о забвении этимологического значения, отражённого в некоторых древнерусских контекстах.

Строго дифференцированные на лексическом уровне понятия, безусловно, должны быть отражены в тексте перевода средневекового юридического текста. Иногда коррелятивное слово латышского языка полностью соответствует по объёму понятия слову в СтЛ 1588. Например, употребление слова *слуга* – *kalps* (KLV I sēj., 663 lpp.) в контексте, где называются различные представители низших сословий:

-- *o головицинахъ и о навезкахъ людеи простыхъ; и о такихъ людехъ и чельди, которая отъ пановъ своихъ отъходитъ, такъ же и о слугахъ приказныхъ* (СтЛ 1588, л. 487).

-- *Par izpirkuma naudū par slepkavību (golovščina) un soda naudū (navezkas), kas attiecīnāmas uz vienkāršās kārtas cilvēkiem. Arī par cilvēkiem un dzimtcilvēkiem (čeljadj), kas iet projām no saviem paniem. Arī par nodotajiem kalpiem.*

Слова *слуга* и *kalps* образуют понятийно-семантическое соответствие, при этом лтш. *kalps* как восточнославянское заимствование в латышском языке сопоставляется с дрр. *холопъ* < **cholpъ*, а дрр. *холопъ* имеет в том числе и значение 'раб, несвободный' (Срезневский СДРЯ, т. III, с. 1384-1385).

Значение же слова *войт* (см. фрагмент II) – *voits* и соответствующий объём понятия определяются на основе дополнительных источников, свидетельствующих об употреблении этого слова на территории Латвии в период, названный "польскими временами". В вышедшем в Риге в 1705 году немецко-шведско-польско-латышском словаре для польск. *Woyt* [= *wójt*] и польск. *Sędzia* приведены разные лексемные соответствия в латышском и немецком языках: первому слову соответствуют лтш. *Tas Sohgis* [= *soģis* 'верховный судья; фогт'], нем. *Der Gerichtsvoigt* 'судебный фогт', второму слову – лтш. *Tas Teesnessis* [= *tiesnesis* 'судья'], нем. *Der Richter* 'судья' (WB, 19.

лрр.). Очевидно, что ставшие синонимами лтш. *tiesnesis* ‘судья’ и лтш. *soģis* ‘(ист.) судья’ ← дрр. *судия* в данном случае обозначают разные понятия, отражающие разный статус судей. Ср. данные исторического словаря русского языка: *войтъ, вой* ‘должностное лицо (староста, судья) в Западной и Южной Руси’, ср. также: *А поставиль тое полату, живетъ въ ней костянтиновской жилецъ, судья, по литовски вой, именемъ Скряга (Сл РЯ XI–XVII вв. т. II, с. 309, с. 311)*. Интересно отметить, что польск. *wójt* обозначает должность сельского старосты, с наименованием же должности судьи связано историческое значение этого слова: ‘*zwierzchnik gminy wiejskiej; w dawnej Polsce: tytuł nadawany przez króla założycielowi miasta; od XIV–XV w.: przewodniczący sądu ławniczego*’ [‘глава сельской общины; в древней Польше: титул, данный королём основателю города; с XIV–XV вв.: председатель суда присяжных’] (SJP t. III, s. 700).

Таким образом, анализ специальной и терминологической лексики в аспекте перевода способствует тому, чтобы актуальный для истории и культуры Латвии памятник был введён в научный обиход на латышском языке. Кроме того, анализ в указанном аспекте лексики юридического текста на старобелорусском языке даёт ценный материал для изучения исторических контактов латышского языка с другими славянскими языками.

ЛИТЕРАТУРА

- Беларуская савецкая энцыклапедыя* [БелСЭ]. Гл. рэд. П. У. Броўка. Т. X. Мінск, 1974.
Беларуска-рускі слоўнік [БРС]. Рэд. К. К. Крапіва. Масква, 1962.
 Б. Грінченко. *Словарь української мови*. [Грінченко СУМ]. [Репринтне видання, 1907-1908]. Т. 1–4. Київ, 1997.
 Мейе, А. *Общеславянский язык*. Пер. с фр. 2-е изд. Москва, 2000.
 Карский, Е. Ф. *Белорусы. Язык белорусского народа*. Вып. 2, 3. Москва, 1956.
 Кочин, Г. Е. *Материалы для терминологического словаря древней России*. Москва-Ленинград, 1937.
Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). [СДРЯ]. Ред. Р. И. Аванесов и др. В 6-ти томах. Москва, 1988–2002.
Словарь русского языка XI–XVII веков [Сл. РЯ XI–XVII вв.]. Главный ред. С.Г. Бархударов, Г.А. Богатова и др. Вып. 1-[] . Москва, 1975– [] .
 Соболевский, А. И. *История русского литературного языка*. Ред. А. А. Алексеев. Ленинград, 1980.
 Срезневский, И. И. *Словарь древнерусского языка* [Срезневский СДРЯ]. [Репринтное издание]. В 3-х томах. Москва, 1989.
Статутъ Великога княжества Литовскаго [СтЛ 1588]. В Вилни: Мамоничи, 1588.
 Статут Великого князьства Литовского 1588 года [СтЛ 1588–II]. В кн. *Временник Общества и древностей Россійских*. Кн. 19. Москва, 1854.
 Фасмер, М. *Этимологический словарь русского языка* [ЭСРЯ]. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Второе изд. В 4-х томах. Москва, 1986–1987.
 Balodis, A. *Latvijas un latviešu tautas vēsture*. Rīga, 1991.
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen [EWD]. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. 4. Auflage. Berlin, 1999.
Krievu-latviešu vārdnīca [KLV]. 2 sējums. Rīga, 1959.
Latviešu literārās valodas vārdnīca [LLVV]. 8 sējums. Rīga, 1972-1996.
 Miakiszew, W. «Мовы» Великоко княжества Литовского в единствесвоих противоположностей. In: *Studia Russica XVIII*. Budapest, 2000.
Słownik języka polskiego [SJP]. Т. I-III. Warszawa, 2002.
 “*Wo(e)rt(er)=Bu(e)chlein*” [WB]. Vārdnīciņa, kā dažas parastas lietas tiek dēvētas vācu, zviedru, poļu un latviešu valodā. Faksimiliespiedums. Ar Pētera Vanaga komentāriem un latviešu vārdu indeksu. Stokholma, 1999.

Сокращения языков

бел. – белорусский язык

двн. – древневерхненемецкий

дрп. – древнерусский

дсканд. – древнескандинавский язык

лтш. – латышский

нем. – немецкий язык

польск. – польский язык

стр. – старорусский (следует отметить, что в упомянутых исторических словарях русского языка для периода после XIV в. приводятся примеры и из текстов западнорусского происхождения)

укр. – украинский язык

Kopsavilkums

1588. g. „Lietuvas lielkunigaites Statūti“ kā vecbaltkrievu (rietumkrievu) administratīvi lietišķās valodas pieminekļi ir vecākā viduslaiku posma juridiskais teksts, kas ir aktuāls no Latvijas vēstures un kultūrvēstures viedokļa. Viens no faktoriem, kas veicina šī teksta zinātnisku aktualizēšanu Latvijā, ir tā tulkošana latviešu valodā. Valodnieciskā aspektā tā ir tulkošana no mirušās slāvu valodas, kuras lietošanas sfēra bija ierobežota laika un telpas ziņā, uz dzīvo stilistiski diferencēto valodu. Rakstā tiek aplūkota no vēsturiskās leksikoloģijas viedokļa šai tekstā atspoguļotā speciālā un terminoloģiskā leksika, kas tiek analizēta arī tulkošanas aspektā. Turklāt vecbaltkrievu juridiskā teksta leksikas analīze ir svarīga, pētot latviešu valodas un citu slāvu valodu vēsturiskos kontaktus.

Atslēgvārdi: slāvu rakstu valodu pieminekļi, salīdzināmi vēsturiskā leksikoloģija, slāvu aizguvumi latviešu valodā, vēsturiski leksikoloģiskās korelācijas tulkošanas aspektā.

Zusammenfassung

Die “Statuten des Großfürstentums Litauen” von 1588 sind die wichtigste Sprachquelle der mittelweißrussischen (westrussischen) Kanzleisprache. Nicht nur für die Rechtsgeschichte Lettlands, sondern auch für die lettische Sprachgeschichte ist dieser alte slawische Text von großer Bedeutung, da ein Teil Lettlands dem polnisch-litauischen Staat angeschlossen war und sich lange Zeit unter der Justiz dieses Staates befand. Die Übersetzung dieses Sprachdenkmals ins Lettische gilt als eine der Voraussetzungen, um die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Text in Lettland zu fördern. Der vorliegende Beitrag informiert über die Probleme, die im Zusammenhang mit dem Übersetzen des Wortgutes des Sprachdenkmals entstehen. Es handelt sich um Sachwörter, Rechtstermini und andere terminologische Wörter, die vom Standpunkt der historischen Lexikologie behandelt werden. Andererseits werden diese Wörter auch unter dem Übersetzungsaspekt analysiert. Von besonderem Wert ist die Tatsache, dass es sich um die Übersetzung aus einer abgestorbenen slawischen Sprache handelt, die auf einen gewissen Zeitraum und bestimmte Textsorten beschränkt war, in die lebendige stilistisch differenzierte lettische Literatursprache. Alle Wörter, die zum Betrachtungsgegenstand im Beitrag geworden sind, lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe bilden die Wörter, die als lexikalische oder lexisch-semantische Entsprechungen zu den slawischen Lehnwörtern im Lettischen auftreten können: *воевода* ‘Woiwod; der Militär’ – *vojevoda*, *староста* ‘Ältermann’ – *stārasts*, *князь* ‘Fürst’ – *kņazs* usw. Dazu gehören auch die Fälle, wenn ein terminologisches Wort im Text der “Statuten” mit dem alten Slawismus im Lettischen semantisch übereinstimmt, z. B. *слуга* ‘Diener’ – *kalps*, das Wort *kalps* ist auf altruss. *холопъ* < **cholpъ* zurückzuführen. Die zweite Gruppe bilden die Wörter, die Entsprechungen und Übereinstimmungen im slawischen Lehngut des Lettischen nicht haben: *зрадця* ‘Verräter’ – *nodevējs* (*zradca*), *клеим* ‘Geleitbrief’ – *drošības dokuments* (*gleits*), *вряд* ‘Behörde; Gericht; Amt’ – *varas iestāde*, *tiesa*, *amatpersona* (*vrjads*), *хоружий* ‘die Person, die an der Spitze des Heeres steht’ – *apriņķa* (*povjeta*) *karaspēka priekšnieks*, *karavandonis* (*horužijs*). Diese Wörter, von denen viele aus dem Polnischen aufgenommen wurden, gelten als lexikalische Besonderheiten der mittelweißrussischen Kanzleisprache. In diesem Zusammenhang sind auch die Wörter zu erwähnen, die im Text der “Statuten” sowie in den Sprachdenkmälern dieser Kanzleisprache bestimmte Bedeutungsspezialisierung im Vergleich mit anderen Texten der altrussischen Verkehrssprache aufweisen: *княжаты* ‘Feudalherren des Großfürstentums Litauen’ – *lielie*

pani (kņazāti), тивун ‘Tiun, Verwalter in einem Besitz’ – *muižu pārvaldnieks (tivuns)*. Die lexikalische Analyse des juristischen Textes in mittelweißbrussischer Sprache gibt wertvolles Material für die Erforschung historischer Kontakte des Lettischen mit anderen slawischen Sprachen.

Schlüsselworte: slawische Sprachdenkmäler, historische Lexikologie, slawische Lehnwörter im Lettischen, lexisch-semantische Entsprechungen unter dem Übersetzungsaspekt.

Footnotes

- ¹ В примерах из СтЛ 1588, а также из СтЛ 1588 -II выносные буквы вставлены в строку (в круглых скобках), титла раскрыты.

**Сильные позиции текста
в аспекте переводческих трансформаций**
**Tekstu veidojošie elementi
tulkošanas transformāciju aspektā**
**Textstrukturierende Elemente
im Aspekt der Transformation bei der Übersetzung**

Галина Сырица

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte,
Vienības 13, Daugavpils, LV-5401
sirica@dau.lv

Статья посвящена проблемам перевода промежуточных заголовков (заглавий частей, глав). Материалом для исследования послужил роман Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» и его перевод на немецкий язык. Названия книг и глав тесно взаимосвязаны, взаимодействуя друг с другом, они раскрывают содержание произведения и активно участвуют в реализации категорий модальности, когезии и проспекции. Грамматические трансформации при переводе (дополнение, опущение, замена одной конструкции другой, изменение частеречной принадлежности слов и др.) привели к разрушению иерархии смыслов в тексте, их перераспределению. Отказ от конструкций экспрессивного синтаксиса, логизация синтаксиса привели к утрате одного из доминантных образных средств. Лексические трансформации заглавий в переводе вызвали изменение их коннотативного фона, обеднение семантической структуры заглавных слов, а также утрату части средств, участвующих в создании когезии текста. Перевод сильных позиций текста должен основываться на анализе глубинных структур текста оригинала, в противном случае происходит смещение информационных блоков текста, экспликация имплицитной информации.

Ключевые слова: сильные позиции текста, промежуточные заголовки, перевод, трансформация, опущение, сужение, дополнение.

Эстетическая значимость тех или иных единиц текста в значительной степени зависит от занимаемой ими позиции в тексте. Общеизвестным является положение об иерархии смыслов в художественном произведении, о неравноправном положении разных элементов структуры. Универсальными “аккумуляторами” смысла произведения являются сильные позиции текста, к которым относятся заглавие, эпиграф, начало, конец, а также “промежуточные заголовки” (Кухаренко 1988), которые даются главам или частям произведения. Заглавие текста гиперсеманлично, т.к. оно устанавливает самые широкие контекстные связи, в его семантизации участвует весь текст.

Заглавия, по признанию многих переводчиков, переводятся последними – перед переводчиком стоит задача, с одной стороны, как можно более точно передать заглавную номинацию, с другой – отразить заключенное в нем образное содержание.

(Черкасский 1986). Особую эстетическую функцию выполняют промежуточные заголовки, которые *“актуализируют категорию членимости текста, (...) выделяют подтемы, подчеркивают, выдвигают важность композиционно-архитектонического членения текста”*. (Кухаренко 1988, с. 91). Само их наличие или отсутствие в тексте эстетически значимо. Промежуточные заголовки представляют собой определенную микроструктуру, обладающую самостоятельной эстетической информацией, которая в свернутом виде иллюстрирует связи и отношения в созданном художественном мире. Кроме того, они тесно связаны с выражением категории модальности в тексте, что находит отражение, как в характере членения текста, так и в самом выборе заглавных номинаций – с точки зрения их формы и семантики, а также с категорией проспекции, т.к. они предвзвешивают описание сюжетного действия.

В зависимости от синтаксического типа заголовка, а также характеристики слов, его составляющих, он может заключать в себе информацию разной степени открытости. Промежуточные заголовки иллюстрируют разный характер связи, как между собой, так и с содержанием части или главы, которую они репрезентируют. Так, например, заглавия аллюзивного типа в большей степени связаны с выражением имплицитной информации, апеллирующей к тезаурусу читателя. В свою очередь, заголовки традиционного, именного типа направлены на отражение содержания главы или книги.

Как уже отмечалось, промежуточные заголовки являются факультативными единицами текста. Так, из пяти последних романов Ф. Достоевского лишь два (“Бесы” и “Братья Карамазовы”) имеют озаглавленные части. Обратимся к анализу романа “Братья Карамазовы”. На композиционное деление романа указывает подзаголовок “Роман в четырех частях с эпилогом”. Специфической особенностью композиции романа является то, что каждая из четырех частей включает разное количество книг, а каждая книга – разное количество глав. Мир дисгармонии, беспорядка, предельной разобщенности демонстрируется уже на уровне названий глав. Это создается за счет использования в заглавиях разностилевой лексики (книжной, разговорной, официально-деловой), разнородных синтаксических конструкций – семантически и синтаксически неполных предложений, парцелляций, фрагментов прямой речи героев и др. (ср.: *Первого сына спровадил; Приехали в монастырь; Буди, буди!; Зачем живет такой человек!; Обе вместе; И на чистом воздухе; Связался со школьниками; Такая минутка; Сам еду!; Прежний и бесспорный; Не ты, не ты!; “Это он говорил!»*); развернутых предложений книжного характера (ср.: *Из жития в бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым*).

Одновременно новая эстетическая информация, связанная с гармонизацией художественного мира, задана символикой чисел, которая соотносится с символикой чисел в самом тексте (ср. использование чисел *три, двенадцать, тринадцать* и др.). Так, количество книг в романе – двенадцать, в каждой из четырех частей есть три соотносящиеся по названию и рядоположенные главы, которые за счет такой выделенности получают особую эстетическую нагрузку: в первой части – *III. Исповедь горячего сердца. В стихах. IV. Исповедь горячего сердца. В анекдотах. V. Исповедь горячего сердца. “Вверх пятнами”*; во второй части – *V. Надрыв в гостиниой. VI. Надрыв в избе. VII. И на чистом воздухе*; в третьей части – *III. Хождение души по мытарствам. Мытарство первое. IV. Мытарство второе. V. Третье мытарство*; в четвертой части – *VI. Первое свидание со Смердяковым. VII. Второй визит к Смердякову. VIII. Третье, и последнее, свидание со Смердяковым*. Соотнесенность трех глав в каждой из частей создает определенную внутреннюю гармонию, одновременно выделяя эти главы из состава других.

Обратимся к анализу перевода промежуточных заголовков и их трансформаций в немецком издании романа. К наиболее частотным видам трансформации относится изменение синтаксической конструкции заглавия. Это выражается в расширении его лексического состава. Так, глава *Кана Галилейская* переводится “Die Hochzeit zu Kana in Galiläa”. В оригинале за счет заглавия достигается широкая степень обобщения: библейский топоним выступает как символическое место чудотворения, приобщения к тайне преобразования мира. Осмысление чуда в Кане Галилейской пропущено через мировосприятие Алеши и устанавливает связи с другими героями: старцем Зосимой (*новых гостей зовет*), Грушенькой (*поехала на бал*), Митей. Гостями пира – всепримиряющего и преображающего действия – становятся разные герои романа. В переводе же заглавие носит характер точной евангельской цитаты, благодаря чему происходит переакцентировка смыслов текста: на первый план выводится Евангелие.

Трансформация структуры заглавия чаще всего направлена на упорядочение, логизацию синтаксиса. Это достигается за счет включения подлежащего в состав предложения (ср.: *Сам еду! – Ich komme selbst!*); вводных слов (ср.: *Денег не было. Грабежа не было – Kein Geld – also auch kein Raub*); скобок, устанавливающих семантические отношения уточнения: *Исповедь горячего сердца. В стихах. – Beichte eines heißen Herzens (in Versen)*; замены разговорной конструкции нейтральной: *Такая минутка – Der gewisse Augenblick*. Семантическая неполнота заглавия *Пока еще очень неясная* восстанавливается за счет включения в название слова *глава*: *Ein vorläufig sehr unklares Kapitel* (ср. также: семантическая неполнота заглавия *Обе вместе* восполняется словом *Frauen: Beide Frauen zusammen*).

На логизацию семантических отношений направлено и изменение структуры заглавий. Заглавие: *Черт. Кошмар Ивана Федоровича* включает два номинативных предложения, декларирующих два взгляда, две оценки одного и того же явления. Эстетически значимой в контексте главы является семантика неопределенности, двойственности описываемого, колебание между явью и сном: явившийся Ивану черт столь же реален, сколь и фантастичен. Неоднократно повторяющееся в тексте слово *кошмар* с его диффузной семантикой устанавливает промежуточное состояние между сном и явью. В переводе снимается многоплановость заглавия: *Der Teufel – Iwan Fjodorowitschs Alptraum*. Объединение в одном предложении с помощью тире слов *черт* и *кошмарный сон* способствует установлению между ними семантических отношений уточнения, пояснения и дает единственно возможное истолкование образа: черт предстает как персонаж кошмарного сна Ивана. В переводе вместо слова *кошмар* используется ряд синонимов: *Aufdringling, Traum, Traumgebilde*.

Изменение синтаксической структуры наблюдается при переводе заглавия *Показание свидетелей. Думе. – Die Zeugenaussagen und der Traum vom „Kindelein“*. Благодаря необычной форме слова *думе*, а также выделенности его в отдельное предложение, оно получает контекстуальные приращения смысла и является символом человеческих страданий. В переводе это слово предстает в форме косвенного падежа, становится частью предложения и утрачивает свой обобщающий смысл. Так же изменено название последней главы книги *Похороны Илюшечки. Речь у камня. – Iljuschetschkas Begräbnis und die Rede am Stein*. Эстетическая значимость речи Алеши выделена с помощью отдельного предложения, в переводе же дано одно предложение.

В целом ряде случаев наблюдается замена устойчивого сочетания одним словом: *Золотые прииски – Die Goldbergwerke; Тлетворный дух – Verwesungsgeruch; Великий Инквизитор – Der Großinquisitor; Раннее развитие – Frühreife* и др., что прежде всего продиктовано спецификой немецкого языка. Сужение заглавия приводит

к изменению связей внутри текста, т.к. каждое из входящих в устойчивое сочетание слов часто дает свою систему отношений, участвуя в реализации категории когезии. Ослаблению контекстных связей способствует также то, что заглавная номинация в системе текстовых повторов передается синонимами (ср.: *млетворный дух – Verwesungsgeruch, Geruch, Leichengeruch, Verwesungsgestank*).

Изменение падежной формы заглавного слова (*Бред – Im Fieberwahn*) привело к изменению ассоциативного фона заглавной номинации. Как известно, номинатив устанавливает самое широкое поле ассоциаций. Слово *бред* характеризует праздник в Мокром, в переводе же заглавие прикреплено к конкретному месту текста и характеризует Митю (ср.: *Митя был точно в бреду*). Расширение заглавия может быть связано с отсутствием эквивалентного слова в языке перевода. Так, слово *изба* (глава *Надрыв в избе*) переводится словосочетанием *ärmliche Wohnung (Überspanntheit in der ärmlichen Wohnung)*. Слово *изба* вступает в тексте оригинала в систему значимых повторов, которая в переводе задается нейтральным словом *Stube*.

Разрушение семантических связей между заглавиями, а также трансформация средств, участвующих в создании когезии, наблюдается при переводе имен собственных. Так, соотносительными являются названия глав *Лизавета Смердящая – Смердяков*. Использование этих номинаций в рамках одной книги устанавливает между ними эстетически значимые отношения: слово *Смердящая* выступает в качестве внутренней формы фамилии *Смердяков*. В переводе же эти отношения разрушаются. Так, имя собственное *Лизавета Смердящая* переводится – *Lisaweta die Stinkende* (ср.: *stinken – смердеть*), фамилия же *Смердяков* транслитерируется, внутренняя форма фамилии остается невозстановленной – *Smerdjakow* (ср. то же : Лягавый – Ljagawy).

Трансформация заглавной номинации приводит к изменению ее коннотации. Так, сниженный коннотативный фон названия “Книги первой” – *История одной семейки* – задан словом *семейка*, имеющим коннотацию неодобрительности, и поддерживается также словом *спровадил* в заглавии второй главы: *Первого сына спроводил*. В переводе дается нейтральное название книги: *Die Geschichte einer Familie*. Сниженный коннотативный фон заглавия второй главы в переводе сохраняется (*Der erste Sohn wird aus dem Haus geschafft*), однако измененной предстает структура предложения.

Название главы *Луковка* переводится нейтральным словом *Die Zwiebel*, при этом в главе *Кана Галилейская* появляется слово *Zwiebelchen*. В оригинале же форма заглавной номинации *луковка* остается неизменной в широкой системе повторов. Таким образом, слово *луковка* передается двумя словами: *Zwiebel, ein kleines Zwiebelchen*, что способствует трансформации смыслов. Изменение стилистической принадлежности слова наблюдается и в следующих контекстах: глава *За коньячком* переводится нейтральным словом *Beim Kognak*; глава *Старцы* переводится с помощью транслитерации (ср.: *Die Starzen*), за счет чего утрачивается высокий фон слова, в переводе оно становится экзотизмом. Сниженное слово *бабы* (глава *Верующие бабы*) переводится нейтральным *Weiber (Gläubige Weiber)*, за счет чего снимается оппозиция в соотносительных главах на уровне слов *бабы – дамы*: *Верующие бабы – МалOVERная дама*. В переводе они имеют одинаковый коннотативный фон. Кроме того, измененными предстают средства выражения категории когезии: заглавное слово выпадает из контекстных связей.

Трансформация может быть связана с изменением частеречной принадлежности заглавного слова. Так, первая глава второй книги романа называется *Приехали в монастырь*. Это единственная глава, в название которой вынесен глагол движения, что определяет ее особое место в ряду других. Семантическая неполнота предложения за счет неназванного субъекта действия определяет широту референции, указывая на

большой круг действующих лиц. Глагол *приехали* выступает в роли характеризующего персонажей слова и актуализируется за счет повтора в сильной позиции начала главы, где важна оппозиция *к обедне не пожаловали, а приехали: Наши посетители монастыря к обедне, однако, не пожаловали, а приехали ровно к шапочному разбору*. Во втором предложении слово *приехали* выделено за счет инверсии: *Приехали они в двух экипажах (...)*. Семантика глагола *приехали* конкретизируется благодаря описанию экипажей, которые даны по принципу противопоставления: *в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей (Миусов) – в весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извозчичьей коляске (Карамазов)*. Дальнейшая семантизация заглавного слова задается оппозицией на уровне глаголов движения *приехали (подъехали) – проходил: Проходил последний народ из церкви, снимая шапки и крестясь* (ср. также реплику Миусова: “*Да я зачем же сюда и приехал, как не видеть все их здешние обычаи*”).

В переводе семантика глагола *приехали* передается существительным (ср.: *Ankunft im Kloster*), за счет чего снимается выделенность главы: она ставится в ряд других отыменных названий глав. Поддерживающие заглавное слово повторы глагола *приехали* в переводе утрачены вовсе – за счет использования синонимов: *erscheinen, vorfahren, herfahren, kommen*. Эти глаголы движения передают денотативное содержание семантики оригинала, но утрачивают коннотативный фон, направленный на характеристику персонажей.

Трансформация может быть связана с использованием синонимических средств. Особую значимость имеют заглавия глав, совпадающие с названием книги. Так, глава *Сладострастники* повторяет название третьей книги. Использование в переводе синонимов *Wollüstlinge* (сладострастники), *Die Wüstlinge* (развратники), имеющих разную семантическую структуру, разрушает соотносительность этих заглавий. И наоборот, наблюдается замена синонимов в соотносящихся по структуре заглавиях одним словом. Так, авторские синонимы *свидание* и *визит* в рядоположенных заглавиях: *Первое свидание со Смердяковым; Второй визит к Смердякову; Третье, и последнее, свидание со Смердяковым* в переводе заменяются словом *Besuch*.

Кроме того, замена заглавной номинации синонимом может приводить к значительным семантическим потерям. Безэквивалентное слово *мытарство*, в семантической структуре которого есть семы, указывающие не только на страдания, но и на путь (ср.: *мучение, страдание* – скитания, связанные с лишениями, бедствиями), переводится словом более узкой семантической структуры: *Leid* – ‘страдание’: *Die Wanderung einer Seele durch die Leiden. Das erste Leid; Das zweite Leid; Das dritte Leid*. Кроме того, третий повтор в оригинале выделен за счет инверсии (ср.: *Третье мытарство*), в переводе же все три повтора имеют идентичное строение.

Итак, как показал анализ, при переводе промежуточных заголовков встречаются различные виды грамматических трансформаций: опущение, сужение, дополнение, замена одной конструкции другой, замена одной части речи другой и др. Конструкции экспрессивного синтаксиса в тексте оригинала являются одним из доминантных средств образности, участвующих в реализации идейно-художественного замысла. Благодаря “логизации” синтаксических структур в системе заглавий художественный мир в переводе предстает более упорядоченным, организованным. Дополнение конструктивно необходимых членов предложения (без учета эстетической функции такого приема) приводит к значительным эстетическим потерям и, прежде всего, к разрушению иерархии смыслов в тексте, их перераспределению.

Лексические трансформации в переводе привели к изменению коннотативного фона заглавной номинации, к сужению ее семантического объема. Кроме того,

произошло ослабление семантической связи между заглавиями, а также утрата части средств, участвующих в создании когезии текста, – текстовые связи предстали более ослабленными. При переводе заглавий способом транслитерации изменились ассоциативно-семантические связи слов: они получили статус “чужого слова” и соответственно другой ассоциативный потенциал.

Наш анализ подтвердил неоднократно высказанную в литературе мысль о том, что перевод текста, и в особенности его сильных позиций, должен основываться на анализе глубинных структур текста оригинала. Изменения (модификации, трансформации) при переводе неизбежное явление, более того, точные соответствия сами по себе еще не свидетельствуют об адекватности перевода, однако игнорирование иерархии смыслов текста, заданных сильными позициями, приводит к обеднению идейно-образного содержания текста. Универсальный закон художественного перевода: “*So präzise wie möglich, so frei wie nötig*” (Kautz 2002) в наибольшей степени касается перевода сильных позиций. Его игнорирование приводит к смещениям информационных блоков текста – подтекстовая информация становится содержательно-фактуальной, происходит экспликация имплицитной информации, которая задается грамматической формой, синтаксической конструкцией, стилистической характеристикой слова и др. средствами.

ЛИТЕРАТУРА

- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30-ти томах. Т. 14–15. *Братья Карамазовы*. Ленинград, 1976.
- Кухаренко, В.А. *Интерпретация текста*. Москва, 1988.
- Нуриев, В.А. Адекватность перевода как лингвистическая проблема. *Вестник ВГУ*, №1. Воронеж, 2003.
- Топер, В. Перевод и литература. Творческая личность переводчика. *Вопросы литературы*, № 11–12. Москва, 1998.
- Черкасский, Л. Начнем с заглавия. *Иностранная литература*, №5. Москва, 1986.
- Dostojewski, F. *Die Brüder Karamazow*. Übers. von H.Röhl. Leipzig, 1973.
- Kautz, U. *Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens*. München, 2002.
- Wahrig, G. *Deutsches Wörterbuch*. Bertelsmann Lexikon Verlag, 2002.

Kopsavilkums

Rakstā ir pievērsta uzmanība tādu tekstu veidojošo elementu (teksta stipro pozīciju elementu) tulkošanai kā nosaukums, epigrāfs, nodaļu nosaukumi. Pētījuma pamatā ir F. Dostojevska romāns “Brāļi Karamazovi” un tā tulkojums vācu valodā. Grāmatas un tās nodaļu nosaukumi ir cieši saistīti un tiem ir liela nozīme teksta tēlainības radīšanā. Tie ir būtiski arī tādu teksta kategoriju kā modalitāte, kohēzija un prospekcija izveidē. Gramatiskās transformācijas (paplašināšana, izlaidšana, aizstāšana) tulkojumā var ieviest pārmaiņas tēlainības līdzekļu hierarhijā. Ekspresīvas sintaktiskas konstrukcijas kā tēlainības galvenais līdzeklis bieži tiek aizstātas ar neitrālām. Leksisko transformāciju sekas ir nodaļu nosaukumu konotācijas maiņa, vārda semantiskās struktūras sašaurināšanās, dažu izmantoto valodas līdzekļu zudums, kas ir raksturīgs teksta kohēzijai. Pirms teksta stipro pozīciju elementu tulkošanas ir nepieciešama zemteksta informācijas analīze, lai implicītā informācija tiktu izteikta eksplīcītā veidā un netiktu zaudēta.

Atslēgvārdi: tekstu veidojošie (stiprās) pozīcijas, nodaļu nosaukumi, daiļdarba tulkojums, transformācija, izlaidšana, aizstāšana, paplašināšana.

Zusammenfassung

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Problem der Übersetzung textstrukturierender Elemente des Textes (des Titels, des Epigraphs, der Kapitelüberschriften u.a.). Das Material für die Forschung war der Roman von F. Dostojewski „Die Brüder Karamazow“ und seine Übersetzung ins Deutsche. Die Titel der Bücher und die Kapitelüberschriften sind eng miteinander verbunden und spiegeln die Bildhaftigkeit des Textes wider. Sie nehmen aktiv an der Realisation solcher Textkategorien wie Modalität, Kohäsion, Prospektion teil. Die grammatischen Transformationen bei der Übersetzung (Ergänzungen, Auslassungen, Ersetzungen u.a.) tragen zur Veränderung der Hierarchie der Bildhaftigkeitsmittel des Textes bei. Die expressiven syntaktischen Konstruktionen als Hauptmittel der Bildhaftigkeit wurden oft durch neutrale ersetzt. Als Folge der lexikalischen Transformationen erfolgte die Veränderung der Konnotation der Kapitelüberschriften, die Verminderung der semantischen Struktur des Wortes, der Verlust einiger der Sprachmittel, die an der Kohäsion des Textes teilnehmen. Vor der Übersetzung textstrukturierender Elemente des Textes muss man die Analyse tiefliegender Information des Textes berücksichtigen, sonst wird die implizite Information explizieren oder verloren gehen.

Schlüsselworte: *textstrukturierende (starke) Elemente eines Textes, Titel und Kapitelüberschriften, Transformation bei der Übersetzung, Auslassung, Ersetzen, Ergänzung.*

Глаголы звучания в оригинале и латышском переводе повести М. Булгакова “Собачье сердце”

Onomatopoētiskie verbi M. Bulgakova stāsta “Suņa sirds” oriģināltekstā un latviešu tulkojumā

Verbs of Sounding in the Original and Latvian Translation of a Tale by M. Bulgakov “The Dog’s Heart”

Светлана Муране

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte,
Vienības 13, Daugavpils, LV-5401
volda@dau.lv

Повесть М.Булгакова наполнена лексикой звучания, её использование своеобразно и значимо для художественного замысла автора. Сопоставительный анализ показал, что в переводе, в целом, на наш взгляд, удачном, встречаются неточности. Например, перевод опорного в тексте глагола глаголами-дивергентами может разрушать текстовые связи слов, наблюдаемые в оригинале произведения. Кроме того, адекватный перевод не всегда реализован из-за различий в семантической структуре многозначных слов и отсутствия в языке перевода эквивалентного переносного значения. Важную роль играют также различия во фразеологической системе сопоставляемых языков.

Ключевые слова: сопоставительный анализ, эквиваленты, глаголы звучания, глагольные дериваты, актанты.

Проблемам перевода художественного текста посвящено значительное количество лингвистических работ, как достаточно давних (*Бархударов 1975; Виноградов 1978; Комиссаров 1973; Кухаренко 1983*), так и современных (*Бабушкин 2000; Ермакова 2004*).

Задачей данной статьи является сопоставление глаголов звучания в оригинале и переводе повести М. Булгакова «Собачье сердце». Повесть, на наш взгляд, удачно переведена на латышский язык Андрой Нейбургой (*Neiburga 1988*). Тем не менее, как и в любом переводе художественного текста, неточностей в переводе избежать не удалось. Под неточностями понимаются *«отклонения в переводе от оригинала, при котором не нарушается целостность и общая атмосфера текста»* (*Солдатенкова-Дедерен 1998, с. 5*).

Повесть “Собачье сердце”, написанная в двадцатые годы XX века, имеет подзаголовок “Чудовищная история”. В ней автор откровенно пародирует идею этой эпохи – идею рождения нового человека (*Бердяева 2003, с. 105*).

Повесть М. Булгакова наполнена лексикой звучания, использование её своеобразно и значимо для реализации художественного замысла автора произведения. В повести представлены различные семантические группы слов, создающих её звуковой мир:

звучит речь и пение людей, слышны звуки, издаваемые животными, производят звуки и шумы предметы, окружающие людей, разнообразные явления природы сопровождаются звуками. Эта лексика, особенно глаголы звучания, является опорной в произведении.

Повесть заключена в контрастную звуковую рамку: она начинается с описания ведьмы-вьюги, в которой холодно бездомному псу и барышне-секретарше, и заканчивается *полнейшей и ужасающей тишиной* (Булгаков 1989, с. 168). Лексика, с помощью которой Булгаков описывает вьюгу, показывает разгул бесовских сил, так что эксперименты профессора Преображенского по омоложению людей воспринимаются как вмешательство нечистой силы.

М. Булгаков связывает первое появление профессора Преображенского на страницах повести с ведьмой-метелью с помощью употребления глагола *хлопать* и его производных: “Дверь через улицу в ярко освещенном магазине *хлопнула*, и из неё показался гражданин; Вьюга *захлопала* из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката “Возможно ли омоложение?” (там же, с. 99).

Сравним эти контексты из оригинала с извлечениями из перевода: Pāri ielai spoži argaismotājā veikalā *noklaudzēja* durvis, un tajās parādījās pilsonis. Putenis virs galvas *izšāva kā no plintes*, pasvieda gaisā milzīgos audekla plakāta burtus – “Vai iespējama atjaunināšanās?”

Как видим, в переводе указанная выше связь утрачивается: *noklaudzēja* durvis – *стукнула* дверь, а вьюга *izšāva kā no plintes* – *выстрелила* как из ружья.

В повести есть глаголы – фавориты, которые настойчиво повторяются Булгаковым в одной или разных формах, поддерживаются дериватами и звукоподражательными словами. Адекватный перевод таких слов важен для реализации авторского замысла. Обратимся к одному из таких глаголов – *вить*, который обозначает ‘продолжительные, протяжные звуки животных (собаки, волка), напоминающие стон’. Значение же ‘производить громкие протяжные звуки, напоминающие стон (вой) и воспринимаемые человеком как жалобные, тоскливые’ (ТСРГ 1999, с. 445) используется при характеристике звучания, сопровождающего стихийные явления. Лексико-семантический вариант (ЛСВ) этого глагола – ‘*плакать в голос*’ (СРЯ т. I, с. 289).

Разные значения этого глагола и его производных взаимодействуют в оригинале произведения и создают сложный звуковой образ, в котором соединены люди и животные, предметы и живые существа, животные и звучащая природа. Сравним несколько контекстов из оригинала и перевода:

–У-у-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. *Вьюга* в подворотне *ревёт* мне отходную, и я *вою* с ней (там же, с. 97).

–Я теперь *вою*, *вою*, да разве *воем* можешь. У-у-у-у-у! (там же, с. 97).

“Э, нет... – мысленно *завыл* пес...” (там же, с. 104).

И начинался *вой* (там же, с. 120).

Вой и рёв вьюги сливается с воем собаки. Этот звуковой образ усиливается с помощью звукоподражания у-у-у, которое передаёт завывание вьюги. В переводе повести в качестве эквивалентов глагола *вить* использованы латышские глаголы-синонимы *gaudot* и *kaukt* (LVV, lpp. 98):

–U-u-u-u-u-hu-hu-huū! О, paraugieties uz mani, es mirstu. Putenis pavārtē rēc man aizlūgumu, un es *kaucu* līdzi.

Tagad nu *gaudoju*, *gaudoju*, tak vai ar *gaudošanu* līdzēsi.

“Ē, nē...domās *iegaudojās* suns...”

Un sākas *kaukšana*.

По структуре лексического значения латышские глаголы различны: *gaudot* – ‘долго, протяжно выть’ (обычно о волке и собаке); *kaukt* – ‘длительно издавать протяжные **резкие** звуки’ (о животных). Оба глагола в переносном значении употребляются для передачи звуков, сопровождающих стихийные явления (ветер, бурю), для обозначения звуков механизмов и свистков, а также звуков человека (*громко плакать*). По семной структуре более адекватным глаголу *выть* является глагол *gaudot*.

Употребление в переводе в качестве эквивалентов глагола *выть* двух латышских глаголов с несколько отличающейся семантикой можно объяснить стремлением избежать в переводе повторения одного и того же глагола, поскольку в оригинале нюансы семантики не выражены. Подобный приём приводит к разрушению сложного звукового образа, который у Булгакова создаётся повторением глагола *выть* в разных формах, слов одного с ним корня и дистантно поддерживается созвучными словами.

Глагол звучания *выть* и его производные в сочетании со звукоподражательными словами вновь и вновь возвращают читателя к образу ведьмы-вьюги. В переводе используется глагол (*iekaukties*), образованный от менее адекватного, на наш взгляд, глагола *kaukt*. Приведу один из подобных контекстов, в основе которого лежит эпизод повести, где Шарика готовят к операции:

Потом полутьма ванной стала страшной, он *завыл*, бросился на дверь, стал царапаться.

– У-у-у, – как в бочку *полетело* по квартире (там же, с. 123).

Pēc tam vannas istabas tumsa kļuva baiga, suns *iekaucās*, metās durvīs, sāka skrāpēt.

– U-u-ū! – kā no tucas *izskanēja* (раздалось – С. М.) *pa visu dzīvokli*.

Глагол *подвыть* в отдельных эпизодах повести переводится глаголом *iesmilkstēties*, образованным от глагола *smilkstēt*, который соотносится с русским глаголом *скулить* ‘издавать продолжительный жалобный визг, переходящий в лай, тихо выть’ (ТСРГ с, 452). В данном случае при переводе отдаётся предпочтение более адекватной передаче семантики глагола, но при этом теряются звуковые текстовые соотношения слов: “Повар-каторжник, повар!” – жалобными глазами *молвил* пёс и *слегка подвыл* (там же, с. 104); “Pavārs-bezgodis, pavārs!” – *žēlabainām acīm pauda suns un viegļiņām iesmilkstējās*.

Кроме того, глагол *подвыть* переводится фонетически сходным с *iesmilkstēties* глаголом *ieķilkstēties*: «Шарик <...> *паза* два *подвыл*, чтобы *поддержать* жалость к себе» (там же, с. 100); *Šariks <...> pāris reižu ieķilkstējās, lai uzturētu līdzjūtību pret sevi*.

Употребляемые в оригинале повести глагол *скулить* и его производные в ряде случаев удачно переводятся глаголом *smilkstēt* и его производными, как, например, в следующих контекстах:

– У-у-у, – *жалобно заскулил* пёс (там же, с. 105);

– U-u-ū! suns *žēli iesmilkstējās*.

Глагол *скулить* в переводе иногда, на наш взгляд, необоснованно переводится другим латышским глаголом – *gaudās* (*gausties* ‘жаловаться’). Сравним следующие контексты:

– У-у! – *скулил* пёс-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы (там же, с. 120);

Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на заду, как в цирке (там же, с. 120).

– U-ū! – *gaudās* (жаловался – С. М.) suns *pielidējs un, ķepas izgriezis, rāpoja uz vēdera. Suns kauca, ņirdza zobus, mēģināja ieķerties paklājā, šļūca uz dibena kā cirkā*.

В повести М. Булгакова для передачи звуков, издаваемых собакой, употребляются глаголы, которые входят в синонимический ряд с опорным словом *лаять*. Его синонимами являются глаголы *гавкать* ('лаять громко, отрывисто, беззлобно') и *тявкать* ('отрывисто, негромко лаять'). Используются с этой целью также дериваты данных слов, нередко в сочетании с наречиями, характеризующими силу и другие особенности звука, а также звукоподражательные слова.

При описании звукового «поведения» пса Шарика Булгаков практически не использует глагола *лаять* (Шарик воет, скулит, тявкает), тем самым, показывая стремление пса выразить профессору Преображенскому «любовь и преданность», а также зависимость бездомной собаки от «божества», «пёсего благотворителя». Лишь один раз употребляется существительное *лай* по отношению к Шарикю, который *изучил звонок Филиппа Филипповича <...> и вылетал с лаем встречать его в передней* (там же, с. 119). Кроме того, один раз употребляется просторечный глагол *лаяться* с речевым значением 'ругаться, браниться' в обращении пса, желающего утвердиться на кухне, к кухарке Дарье Петровне:

– *Чего ты? Ну, чего лаешься?* – *умильно щурил глаза пёс <...> и он боком лез в дверь, просовывая в неё морду (там же, с.121).*

В латышском переводе этого высказывания используется глагол *rieties* с аналогичной семантикой и стилистической окраской:

– *Nu ko tu? Ko rejies?* – *suns glaimīgi miedza acis...un viņš ar purnu sāniski spraucās durvis.*

В латышском переводе эквивалентный глаголу *лаять* глагол *riet* встречается чаще, поскольку им переводятся также глаголы *гавкать* и *тявкать*. Шарик в переводе, на наш взгляд, представлен более громогласным, чем в оригинале повести. То же наблюдаем и при переводе глаголов, характеризующих речь Шарикова. Сравним следующие примеры (латышские глаголы *ierieties* и *atriet* образованы от *riet*):

1. *“Пёс не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул“ (там же, с. 106). *Suns neizturēja kaķus un ierējās tā, ka subjekts palēcās gaisā.**
2. *“Я воевать не пойду!” – вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф (там же, с. 140). – *Es ne uz kurieni neiešu karot, – pēkšņi Šarikovs drūmi atrēja skapim.**

«Очеловечивание» Шарика предвосхищено автором повести употреблением сложного фразеологизма *заливаться горькими слезами*, в котором наблюдается контаминация фразеологических единиц *обливаться слезами* (1-й пример) – 'горько, безутешно плакать' (*ФС*, с. 201) и *горючие слёзы* – 'нар.-поэт. горькие слёзы' (*СРЯ*, т. I, с. 337). Глагол *обливаться* автор заменяет словом *заливаться* (2-й пример), у которого есть звуковое значение 'завучать, залаять звонко, с переливами: *во дворе заливалась лаем собака*' (*ТСРГ*, с. 447). Переносное значение этого глагола – 'громко и сильно заплакать или засмеяться' (*СРЯ* т. I, с. 538). Сравним два фрагмента из оригинала и перевода:

1. *«Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами» (там же, с. 100). *Pārplūzdams asarām, suns līda uz vēdera kā čūska.**

2. *Пёс заливался горькими слезами и думал: “Бейте, только из квартиры не выгоняйте” (там же, с. 120). *Suns izplūda rūgtās asarās un domāja: “Sītiēt, tikai no dzīvokļa prom netrenciet”.**

В латышском переводе фрагментов оригинального текста используются выражения, которые в так называемом обратном переводе выглядят как *обливаясь слезами* (1-й пример) и *источал (испускал) горькие слёзы* (2-й пример). Заметим, что в латышском языке у глагола *plūst*, от которого образованы употребляемые в тексте приставочные глаголы *pārplūst*, *izplūst*, в отличие от русского глагола *заливаться*, нет

значения ‘громко, залиvisto залаять’ Это приводит к тому, что в переводе утрачивается связь образа собаки с образом её последующего превращения, а также связь Шарикова с образом этого животного (см. ниже 3-й пример).

Переносное значение глагола *заливаться*, как уже упоминалось, - ‘громко и сильно заплакать или засмеяться’ (СРЯ т. I, с. 538). В этом значении данный глагол используется в сочетании с многозначным глаголом звучания *выть* при описании Шарикова в следующем эпизоде:

3. «*Борменталь* накладывал ему швы, отчего Шариков долго **выл, заливаясь слезами**» (там же, с. 153). *Filipam Filipovičam un dr-am Bormentālam nācās likt viņam šuves, par ko Šarikovs, asarām pārplūzdams, ilgi kauca.*

В данном случае в латышском переводе сохранена связь с фрагментом перевода первого эпизода *обливаясь слезами*, но не передаётся звуковая общность образов собаки и Шарикова, которая в оригинале создаётся глаголом *заливаться* (слезами и громким залиivistым лаем).

Одни и те же глаголы с номинативными семами ‘звуки, издаваемые собакой’ используются автором повести и при описании вызывающих жалость и брезгливое чувство пациентов профессора Преображенского, и при характеристике Полиграфа Шарикова, подчеркивая их «животную» сущность. Сравним следующие ряды примеров:

1. «*Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он **тявкнул**, но очень робко*» (там же, с.106).

– *Тяу, тяу!* – он легонько **потявкнул** (там же, с. 106).

*Потом взволнованный голос **тявкнул** над головой:*

– *Я слишком известен в Москве, профессор* (там же, с. 109).

На латышский язык глагол *тявкать* переведён префиксальными глаголами, образованными соответственно от глаголов *riet* и *vankšķēt*:

*Maigi pavērās durvis, un ienāca kāds, kura izskats suni tā satrieca, ka viņš gan **ierējās**, taču ļoti bikli.*

– *Ҙau, Ҙau!* ...-viņš **viegliņām ievankšķējās**;

*Pēc tam virs galvas **ievankšķējās** satraukta bals:*

– *Es esmu pārāk pazīstams Maskavā, profesor.*

Перевод глагола *тявкать* глаголом *riet* ‘лаять’ не является семантически эквивалентным, так как *тявкать* – это ‘отрывисто негромко лаять’. Перевод же глагола *тявкать* как *vankšķēt* также вызывает сомнение, потому что данный латышский глагол имеет значение, более близкое к *гавкать* ‘громко отрывисто лаять’. В следующих отрывках из повести в переводе на латышский язык глагол *подвыть* переведён как *iesmilkstēties* и *ieķilkstēties* (см. выше):

2. Шарик <...> раза два **подвыл**, чтобы поддержать жалость к себе (там же, с. 100).

– *Я тяжко раненый при операции, – хмуро **подвыл** Шариков* (там же, с. 141).

*Šariks < > pārīs reižu **ieķilkstējās**, lai uzturētu līdzjūtību pret sevi.*

– *Esmu smagi ievainots operācijas laikā – drūmi **iesmilkstējās** Šarikovs.*

Процесс превращения Шарика в Полиграфа Шарикова изображается в повести путем смешения глаголов, обозначающих звуки, издаваемые животными, с глаголами речи. Использование в речи Шарикова лексики “звучания животных” создаёт сатирический эффект, который усиливается с помощью различных, но в основном обстоятельственных актантов. При этом в ряде случаев перевод глаголов звучания сделан очень точно:

- *Разве я просил мне операцию делать? – человек возмущенно лаял (там же, с. 137).*
- ... *Varbūt es lūdzu jūs operāciju taisīt? – cilvēks sašutis rēja.*
- *Я не господин, господа все в Париже! – отлаял Шариков (там же, с. 152).*
- *Es neesmu kungs, visi ir kungi Parīzē! – atrēja Šarikovs.*
- *Я на фронтах колчаковских ранен, – пролаял он (там же, с. 163).*
- *Esmu ievainots Kolčaka frontēs, – viņš norēja.*
- *Ни пса не видно, – в ужасе пролаял он в окно (там же, с. 143).*
- *Ne suņa nevar redzēt, – viņš šausmās norēja logā.*

В последнем примере выражение *ни пса не видно* буквально переведено как *ne suņa nevar redzēt*, что нельзя назвать удачным, так как в русском языке слово *пёс* имеет в семантической структуре ЛСВ с бранным значением, которого нет в структуре значения латышского слова. В речи Шарикова использование грубых и бранных слов – это норма. Естественно также и то, что это слово у Булгакова «связывает» образ пса Шарика с образом человека – Шарикова.

М. Булгаков мастерски создаёт в повести сложную звуковую гамму, объединяя слова разных семантических подгрупп лексики звучания. В следующем фрагменте приведён эпизод повести, когда деморализованные Шариковым обитатели квартиры профессора Преображенского воспринимают звуки грузовика, на котором явился уверенный в себе «заведующий подотделом очистки» Шариков, как лай. В переводе этот сложный звуковой образ, в котором объединены две ипостаси Шарикова, разрушается. Сравним: “*Благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок*” (там же, с.160). *Obuhova šķērsielas godbijīgajā klusumā ielauzās kravas mašīnas dārdoņa* (буквально в тишину вломился грохот грузовика – С. М.) *un logu stikli nodrebēja. Pēc tam atskanēja drošs zvans.*

Столкновением лексики звучания различных семантических подгрупп в сочетании с признаковыми словами, обозначающими отрицательные свойства персонажа, М. Булгаков показывает, как при соединении «симпатичного здравомыслящего пса с алкоголиком и хулиганом Климом Чугункиным возникает «нечто», по словам профессора Преображенского, *слабое в умственном отношении и злобное существо с чисто звериными поступками* (там же, с. 149). Глагол *гавкать* переведён деэпричастием, формально связанным с латышским глаголом *riet* ‘лать’. Подтвердим сказанное следующим примером: *Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто: “Да что такое, в самом деле! Что я управы что ли не найду на вас?”* (там же, с. 165). *Viņš pats metas neizbēgamā apkampienos, strupi un ļauni ieriedamies* (буквально отрывисто и зло отлаяв – С. М.). *Kas gan tas, nē, patiešām! Ko domājat, es nepratīšu ar jums tikt galā, vai?*

Два следующих контекста показывают процесс “очеловечивания” собаки и обратный процесс возвращения Шарика, описанный в эпилоге, где противопоставлены выражения *обругал по матери* (Шариков) и *неприличными словами не выразаться* (Шарик):

1. *В моём и Зины присутствии пёс (если псом, конечно, можно назвать) обругал Преображенского по матери* (там же, с. 129). *Manā un Zinas klātbūtnē suns (Ja, protams, var saukt par suni) nolatāja prof. Preobraženski “māmīņā”.*

2. *“Неприличными словами не выразаться”, – вдруг гаркнул пёс с кресла и встал* (там же, с. 167). *Nepieklājīgus izteicienus nelietot, – suns krēslā pēkšņi novaukšķēja un piecēlās.*

Устойчивое выражение *обругать по матери* не имеет в латышском языке эквивалента. А. Нейбурга в качестве эквивалента даёт в переводе *nolamāt "māmiņā"* – буквально *обругать по матушке*. Во втором фрагменте перевод нельзя признать удачным, поскольку глагол *гаркнуть* обозначает ‘громко крикнуть’, он характеризует двойственную природу существа, похожего на «пса странного качества, который вышел как учёный циркач на задних лапах», но ещё говорящего. «Человеческая» сущность Шарикова ещё проявляется в этом *гаркнуть*, но это уже и Шарик, так как выражаться «неприличными словами» присуще как раз Шарикову.

В переводе повести глагол речи заменяется глаголом *novaukšķēja* ‘гавкнул’, обозначающим звуки, издаваемые собакой; в результате исчезает на звуковом уровне связь образов пса и Шарикова. А ведь именно это громко выкрикнутое вроде бы собакой выражение повергло в шок присутствующих и вызвало обморок у «человека в чёрном пальто с портфелем».

Сопоставление глаголов звучания в тексте Булгакова с его переводом показало, что перевод, как это всегда и бывает, уступает оригиналу. Причины этого кроются, прежде всего, в различиях системы лексики звучания сопоставляемых языков. Известно, что звуковой мир отражен в латышском языке более дифференцированно (Freimane 1983). Анализ показал, что использование дивергентов может разрушать текстовые связи. Кроме того, адекватный перевод не всегда возможен из-за различий в семантической структуре слова, а именно отсутствия в языке перевода эквивалентного переносного значения. Есть случаи, когда имеются все возможности для эквивалентного перевода, но переводчик их не использует. Важную роль играют также различия во фразеологических системах языков, в которых отражена специфика восприятия мира, культурный опыт и традиции того или иного народа.

ЛИТЕРАТУРА

- Бабушкин, А.П. Вербальное “озорство”: проблемы перевода. В кн.: *Перевод: язык и культура*: Материалы международной научной конференции. Воронеж, 2000, с.12-14.
- Бархударов, Л.С. *Язык и перевод*. Москва, 1975.
- Бердяева, О. Перевернутая иерархия: к проблематике повести Михаила Булгакова “Собачье сердце”. В кн.: *Балтийский филологический курьер*, № 3, 2003, с. 102-112.
- Булгаков, Михаил. Собачье сердце. В кн: *Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита*: Роман. Повести. Сост. И. Белобровцева. Таллинн, 1989, с. 97–168.
- Виноградов, В.С. *Лексические вопросы перевода художественной прозы*. Москва, 1968.
- Ермакова, Р.А. Зоонимы как культурный код: к проблеме эквивалентности и адекватности перевода. *Социокультурные проблемы перевода*. Вып. 6. Воронеж, 2004.
- Комиссаров, В.Н. *Слово в переводе*. Москва, 1973.
- Кухаренко, В.А., Колегаева И.М., Шевченко Н.Г., Тхор Н.М. Ключевые и тематические слова в оригинале и переводе художественного произведения. *Филологические науки*, № 4, 1983.
- Солдатенкова-Дедерен, Т.Н. М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Лингвистические размышления над переводом. *Вестник ЦМО МГУ*, № 1, ч. 2, 1998, с. 1-12.
- Словарь русского языка [СРЯ]*. В 4-х томах. Ред. А. П. Евгеньева. Москва, 1981-1984.
- Толковый словарь русских глаголов [ТСРГ]*. Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы. Ред. Л. Г. Бабенко. Москва, 1999.
- Фразеологический словарь русского языка [ФС]*. Ред. А. И. Молотков. Москва, 1967.
- Freimane, I. *Latviešu valodas skaņu verbi*. Rīga, 1983.
- Latviešu valodas vārdnīca [LVV]*. Rīga. 1987.
- Neiburga, Andra. *Suņa sirds. Avots*, Nr. 7–10. Rīga, 1988.

Kopsavilkums

M. Bulgakova stāstam “Suņa sirds” ir raksturīga onomatopoētiskā leksika, tās lietošana ir nozīmīga un savdabīga autora ieceres kontekstā. Rakstā veiktā sastatāmā analīze liecina par to, ka latviešu tulkojums ir diezgan labs. Tomēr ir neatbilstības: piemēram, oriģinālteksta galvenā onomatopoētiskā darbības vārda tulkošana ar citiem tā paša semantiskā lauka darbības vārdiem neļauj atklāt vārdu tekstuālos sakarus tulkojumā. Bez tam adekvātai tulkošanai traucē atšķirība divu valodu daudznozīmīgu vārdu semantikā.

Atslēgvārdi: sastatāmā analīze, ekvivalentā tulkošana, verbālie derivāti, aktanti, onomatopoētiskie verbi.

Summary

The impossibility of preserving the word-stock of the original work of fiction and its translation was confirmed many times both in translation practice and in theoretical research in this field.

M. Bulgakov's long short story is full of lexical units of sounding their usage is original and significant for the realization of the author's artistic conception.

The comparative analysis showed that the translation of the key verbs in M. Bulgakov's text by several Latvian divergent verbs many destroy the textual ties of the text. Besides, the adequate translation is not always possible due to the differences of the semantic structure of polysemantic words, i.e. because of the lack of the equivalent transferred meaning in the target language. There are cases when possibilities of an equivalent translation exist but, to our mind, the translator does not use them. The differences in the phraseological system of the compared languages also play an important role.

Key words: *comparative analysis, equivalent translation, divergent verbs, actants, verbs of sounding.*

К вопросу о функционировании вводных слов

Par modālo vārdu funkcijām

On the Functions of the Modal Words

Светлана Евстратова
Tartu Universitāte,
Nā 228, ituse 2-210, 50409
destiny50@mail.ru

В статье проводится анализ функционирования вводных слов (ВС) и словосочетаний (СС) в рассказах В. Токаревой. Специфика модальности рассмотренных художественных текстов проявляется в преобладании ВС и СС, выражающих степень логической достоверности сообщения, относительно других выделенных групп ВС и СС, в частности ВС, указывающих на эмоциональную оценку содержания высказывания.

Ключевые слова: вводные слова и словосочетания, классификация, частотность, функции, модальность текста.

Как известно, вводные слова (ВС) и словосочетания (СС) являются одним из средств выражения модальности, субъективности в русском языке. Именно с субъективным фактором связана антропоцентрическая точка зрения на язык, согласно которой человек выступает как субъект речевой деятельности, осмысляющий окружающий мир. В исследовательской литературе сложилось несколько концепций понимания категории модальности в языке, и “каноническое” определение модальности, данное В. В. Виноградовым, достаточно противоречиво, но мы напомним только об одном из его теоретических положений, которое мы принимаем полностью: отмечая специфичность модальных оттенков, выражаемых вводными синтагмами, академик Виноградов писал, что они *“образуют как бы второй слой модальных значений в смысловой структуре высказывания, так как они накладываются на грамматический грунт предложения, уже имеющего модальное значение”* (Виноградов 1986, с. 727). Этот второй слой мы и попытаемся рассмотреть. При этом возникает ряд спорных моментов, но анализ конкретного материала помогает многое прояснить, а накопление сведений о функционировании вводных слов в текстах представляется очень важным.

Для анализа функционирования ВС и СС в художественном тексте мы методом сплошной выборки выявили все ВС и СС в 17 рассказах В. Токаревой, определили отнесенность вводных синтагм к той или иной группе и установили частотность их употребления, а затем выполнили функциональный анализ материала, попытавшись соотнести свои наблюдения со спецификой творчества писательницы.

При анализе выделенных нами ВС и СС (общее количество – 269) мы распределили их по следующим группам:

- 1) ВС и СС, выражающие оценку говорящим степени достоверности сообщения:
может быть, наверное, возможно и др.;

- 2) ВС и СС, выражающие эмоциональную оценку высказывания: *к счастью, к удивлению, к сожалению* и др.;
- 3) ВС и СС, выражающие оценку сообщаемого с точки зрения обычности, распространенности: *как водится, бывает* и др.;
- 4) ВС и СС, указывающие на отношения между частями высказывания: *во-первых, следовательно* и др.;
- 5) ВС и СС, выражающие отношение говорящего к форме высказывания, указывающие на экспрессивный характер сообщения: *иначе говоря, короче, точнее* и др.;
- 6) ВС и СС, указывающие на источник высказывания: *по словам, по-моему, с точки зрения* и др.;
- 7) ВС и СС, выражающие стремление возбудить внимание собеседника к чему-либо, вызвать в нем определенное отношение к сообщаемому: *извините, знаешь (ли)* и др.;
- 8) ВС и СС, выражающие оценку меры, числа или степени того, о чем сообщается: *по крайней мере, самое большое* и др.; (см. таблицу 1).

Вопреки ожиданиям, ВС второй и пятой групп, выражающих эмоциональную оценку высказывания и указывающих на экспрессивный характер высказывания, было зафиксировано очень мало, а самыми частотными в использовании оказались ВС первой группы, выражающие оценку говорящим степени достоверности сообщения (уверенность/неуверенность, сомнение, предположение: *может (быть) – 59, наверно – 29, видимо – 24, вероятно – 15, конечно – 12* и др.) – всего 170 примеров из общего количества 269: (1) *Он сидел за столом лицом ко мне и что-то писал на листке. Может быть, вывел теорию относительности, забыв, что ее уже однажды открыл Эйнштейн (Токарева 1994, с. 78).* Столь высокая частотность ВС с модальным значением свидетельствует об особой значимости для автора реальностной, т.е. модальной характеристики. По активности употребления за словами первой группы следуют ВС и СС группы 4, указывающие на отношения между частями высказывания (наиболее частотна ВС *например – 15* случаев из 58); затем – ВС группы 6, указывающие на источник высказывания – *по-моему, по-твоему, по мнению старушек* и др. – 34 примера). Самое большое количество наиболее частотных ВС и СС встречается в рассказе “Рубль шестьдесят – не деньги”, поэтому именно на примере этого текста мы рассмотрим их функции.

Рассказ повествует о том, как молодой человек по имени Слава купил волшебную шапку-невидимку; просто так, но, как выясняется в конце повествования, для того, чтобы узнать о себе все. Жанр рассказа можно определить как фантастический реализм: внутри условного сюжета герой ведет себя абсолютно нормально, его позиция – философское отношение к жизни, он воспринимает происходящее с жестким юмором, вспоминая прошлое и рассуждая обо всем с самим собой (повествование идет от первого лица). Как же автору удастся разграничить две плоскости повествования, виртуальную и реальную? Одно из языковых средств, используемых для решения данной задачи, – вводные слова и синтагмы.

Чаще всего в рассказе встречается ВС *может (быть)*, это придает повествованию характер рассуждения, некоторой отстраненности от происходящего, что очень хорошо соответствует общей тональности повествования, герой которого – умный, талантливый, но не нашедший себя ни в работе, ни в личной жизни человек: (2) *Она смотрела абсолютно так же, как на стену. Как на пустое место. И все время что-то вспоминала – может, то время, когда писала мне письма? (там же с. 86). “Такие модальные слова, как *возможно* и *может быть*, не всегда отражают точку зрения автора речи. Это модусы допущения, оставляющие говорящему свободу “отречения”*

(Арутюнова 1998, с. 412). Герой плывет по течению, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы изменить свое существование, не намерен с кем-либо конфликтовать или кому-либо что-то доказывать, но вместе с тем он не может не ощущать пустоты, окружающей его в реальном мире, и пытается уйти от нее в мир вымышленный, виртуальный. Эта раздвоенность существования особенно явственно ощущается в заключительной части рассказа: (3) *Город стоял совершенно пустой, будто вымер. Может, время такое, когда еще все спят. А может, шапки вошли в моду, весь город накупил их – ведь они дешевые. Люди надели шапки и теперь невидимые. Может, на улице полно народу – просто я никого не вижу. И я снова один. Меня видят все, а я – никого (там же с. 91).* Повторение одного слова *может* создает, на первый взгляд,

Таблица 1.

**Количество вводных слов и словосочетаний
в проанализированных рассказах В. Токаревой**

| | Степень дост. сообщ. | Эмоц. оцен-ка высказ. | Оценка обычн. | Отн. между част. | Экспр. хар. сообщ. | Источ-ник высказ. | Внима-ние собеседн. | Оценка меры | Общее кол-во |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|
| О том, чего не было | 15 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 19 |
| Инструктор по плаванию | 17 | 1 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | 24 |
| День без вранья | 29 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | – | 53 |
| Рубль шестьдесят – не деньги | 24 | – | 1 | 6 | – | – | 2 | – | 33 |
| Будет другое лето | 10 | 1 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 16 |
| Зануда | 3 | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 8 |
| Нам нужно общение | 4 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 8 |
| Счастливый конец | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 7 |
| Шла собака по роялю | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 5 |
| Самый счастливый день | 8 | – | – | 10 | 3 | 1 | – | – | 22 |
| Японский зонтик | 4 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 8 |
| Летающие качели | 6 | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 |
| Один кубик надежды | 7 | – | – | 5 | – | 1 | – | – | 13 |
| Центр памяти | 10 | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 14 |
| Плохое настроение | 8 | – | – | 2 | – | – | – | – | 10 |
| Стечение обстоятельств | 13 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 16 |
| Рабочий момент | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| | 170 | 7 | 4 | 58 | 6 | 17 | 7 | – | 269 |

единый иррациональный план, но при приближении мы ясно видим, что субъект речи предлагает несколько вариантов возможного объяснения существующего положения дел. ВС создают многослойность повествования, здесь они являются средством структурирования текста, введения в определенную последовательность иррациональных событий – без них текст разрушается. *Может быть со значением предположения может трансформироваться в предикативные единицы типа Я не знаю, предлагаю один из множества возможных вариантов.* Недосказанность оставляет место для полета фантазии.

В чем-то похожую (но не идентичную) функцию выполняют следующие по частотности ВС *навверное* и *видимо*, образующие второй слой модальных значений в смысловой структуре высказывания; они играют большую роль в создании художественного текста как многослойного образования, участвуя в формировании его полифоничности, введении различных предположений: (4) *Во мне закипали упреки, но я молчал. Видимо, обиженный обыватель боролся во мне с интеллигентным человеком (там же с. 90).*

Следует отметить, что в данном тексте есть только одно не нарушающее общей тональности повествования и подтверждающее достоверность высказывания ВС *конечно*, хотя оно входит в число наиболее частотных в общем количестве ВС (12 случаев употребления на 17 проанализированных нами текстов). *Конечно* обычно имеет значение утвердительности, и в нашем примере: (5) *В кассу за билетами выстроилась длинная очередь. Можно, конечно, пройти без билета, но тогда я буду стоять весь сеанс (там же с. 83)* – подчеркивает один из возможных, пока ирреальных, высказываемых героем за счет модального слова *можно* вариантов.

Роль связующего звена в изучаемом нами тексте играет также лексема *например*, входящая в группу ВС, которые указывают на отношения между частями высказывания, и являющаяся одним из средств формирования связности текста за счет установления логических отношений между частями высказывания. Аналогичную функциональную нагрузку несут ВС *с другой стороны* и *значит*: (6) *Идет, например, человек – усталый и разочарованный, ничего хорошего для себя не ждет. И вдруг по воздуху к нему подплывает апельсин – круглый и оранжевый, как солнце вечером (там же с. 82).* Используя ВС данной группы, автор вводит ряд предположений, мыслей, последовательно их развивает, и тем самым ВС и СС участвуют в формировании художественного текста как многопланового образования.

Отличия в регулярности употребления разных групп ВС и СС свидетельствуют об особенностях модальности анализируемых текстов. ВС, используемые в тексте «Рубль шестьдесят – не деньги», могут быть объединены в группу, основанную не на эмоциональном отношении к предмету сообщения, а на логической оценке достоверности утверждения. Конструкции с ВС, обозначающими эмоциональную оценку сообщаемого, для данного текста не характерны, они практически не используются автором. Главным оказывается не передача чьих-либо ощущений, а отражение события с точки зрения возможности или невозможности его осуществления, и этим рассказ «Рубль шестьдесят – не деньги» похож на «День без вранья». Похожи и их рефлексирующие герои, но Валентин из «Дня без вранья» пытается найти себя в реальной жизни, и тональность рассказа иная, более оптимистичная, что во многом создается за счет частого использования ВС *навверное*, которое можно трансформировать в предикативную единицу типа «я полагаю с определенной долей уверенности, знаю навверняка»: (7) *Если сайгак попадает в свет фар, он не может свернуть, навверное, потому, что ночью степь очень черная и сайгак боится попасть в черноту (там же с. 142).* (8) – *Представляешь, – медленно проговорила Нина, –*

наверное, он решил, что это птица (там же с. 144). (9) Нина было засмеялась, но вдруг покраснела, опустила голову, быстро понесла из комнаты чашки. Наверное, подумала, что завтра я собираюсь сделать ей предложение (там же с. 147). ВС и СС участвуют в создании текста. Формирование модального значения выходит далеко за рамки предложения и создается на широкой текстовой основе, так что если мы в приведенных выше примерах произведем взаимную замену ВС *может (быть)* и *наверное*, пусть относящихся к одной группе вводных синтагм, указывающих на степень достоверности сообщения, тональность повествования изменится за счет различия в семантике данных лексем.

Как мы уже отмечали, в рассказах В. Токаревой обращает на себя внимание небольшое количество ВС, выражающих эмоциональную оценку содержания высказываний, указывающих на их экспрессивный характер. Это несколько неожиданно для произведений писательницы, лиричных и проникнутых юмором. Автор избегает бурного выражения эмоций, категоричных экспрессивных оценок; каждой детали придается философское звучание, чем объясняется преобладание в рассмотренных текстах модальных ВС и СС, выражающих степень достоверности сообщения и указывающих на отношение между частями высказывания. В рассказах В. Токаревой есть юмор и грусть, искренний интерес к собственным героям, попадающим в нелегкие жизненные ситуации. Автор не ищет их моментального разрешения, а заставляет задуматься над ними – отсюда философская манера повествования, возможность посмотреть на себя со стороны, умение протянуть нить от житейского анекдота к философским размышлениям.

Использование ВС обусловлено авторской целевой установкой, желанием направить читателя на однозначное или неоднозначное восприятие текста. Для реализации разных интенций требуются различные синтаксические средства – данный факт требует дальнейшего накопления и анализа материала.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова, Н.Д. *Язык и мир человека*. Москва, 1998.

Бабенко, Л.Г., Казарин, Ю.В. *Лингвистический анализ художественного текста*. Москва, 2004.

Белошапкина, В.А. *О модальности сложного предложения*. Москва, 1975.

Виноградов, В.В. *Русский язык: Грамматическое учение о слове*. Москва, 1986.

Токарева, Виктория. *День без вранья: Повести и рассказы*. Москва, 1994.

Kopsavilkums

Rakstā ir aplūkota modālo vārdu un vārdu savienojumu (iespraudumu) funkcionēšana Viktorijas Tokarevas novelēs. Aplūkoto tekstu modalitātes specifika balstās uz to, ka tekstos salīdzinājumā ar pārējām modālo vārdu un vārdu savienojumu grupām (piemēram, ar emocionālas nokrāsas modālo vārdu grupu) pārsvarā ir grupa, kuru veido modālie vārdi un vārdu savienojumi, kas izsaka teikuma satura loģiskā patiesuma pakāpi.

Atslēgvārdi: modālie vārdi, klasifikācija, frekvence, funkcijas, teksta modalitāte.

Summary

The modal words in the Russian language express the subjective understanding and are connected with the anthropocentric approach in linguistics. The author of the given article analyses the modal words' functions on the material of novels written by Victoria Tokareva. 269 modal words were divided into 8 groups in dependence of their semantics. Analysis of the novels gives a possibility to conclude, that the modal words of the first group (they indicate a level of reliability of information) are the most frequent in use and they reflect the author's position. The modal words create a multilateral narration, they help to construct a text and support it. The using of the modal words and expressions depends on the author's point of view and intentions.

Key words: modal words, classification, frequent, functions, modality of text.

**Шахматы в авторской картине мира:
В. Набоков, С. Кржижановский, М. Булгаков**

**Šahs autora pasaules redzējumā:
V. Nabokovs, S. Kržižanovskis, M. Bulgakovs**

**Schach im Weltbild des Autors:
V. Nabokov, S. Kržižanovskij, M. Bulgakov**

Татьяна Стойкова

Sociālo tehnoloģiju augstskola,
Baltā iela 10, Rīga, LV-1055
stoikova@lanet.lv

В статье на основе семантико-стилистического анализа рассматривается эстетическая функция мотива шахмат в произведениях трех русских классиков – В. Набокова (роман “Защита Лужина”), С. Кржижановского (новелла “Проигранный игрок”), М. Булгакова (роман “Мастер и Маргарита”). Анализ художественных текстов, показывая своеобразие речевого воплощения мотива, специфику семантико-стилистической системы каждого писателя, высвечивает уникальность эстетической реализации мотива и вместе с тем выявляет инвариантный символический смысловой план, который соотносится с концепцией существования трансцендентных миров, т.е. вскрывает метафизические основы художественного мировидения выдающихся писателей XX века.

Ключевые слова: лексическая семантика, семантико-стилистическая система писателя, эстетическая функция языка, лингвистика текста

Толковый словарь под редакцией Д.Н.Ушакова так определяет значение лексемы *шахматы*: “[от перс. šāh – царь и араб. māt – умер]. 1. Игра на доске в 64 клетки между 16 белыми и 16 черными фигурами, имеющая целью мат королю противника. 2. Набор фигур для такой игры” (ТСУ т. 4, с. 1324). За лаконизмом словарной статьи скрывается таинственная история возникновения самой интеллектуальной и самой загадочной из всех игр. Вся история шахмат показывает, что это поистине королевская игра; появилась предположительно полторы тысячи лет тому назад в Индии, однако происхождение ее до конца не выяснено: “*Это единственная игра, которая принадлежит всем народам и всем эпохам, и никому не известно имя божества, принесшего ее на землю. <...> Где начало ее и где конец?*” (Цвейг 1994, т. 1, с. 453). Да, шахматы не только излюбленная игра королей, но и игра богов, о чем свидетельствуют мифологии некоторых восточных народов (БСЭ т. 29, с. 303). Возможно, именно ореол неразрешимой загадки поддерживает колоссальный эстетический потенциал мотива шахмат в произведениях многих мастеров слова. В рамках статьи, сознательно ограничивая этот ряд, мы последовательно обращаемся к произведениям трех русских классиков, современников в литературном процессе – В. Набокова, С. Кржижановского, М. Булгакова и ставим своей задачей рассмотрение эстетической

функции мотива (или речевого образа) шахмат в сопоставительном аспекте, выявляя (насколько позволяет жанр статьи): 1) взаимосвязь с другими мотивами и место в мотивной структуре произведения; 2) художественные идеи, в становление которых включается данный мотив; 3) специфику речевого воплощения мотива, характер семантической сложности формирующих его словесных образов.

Мотив, как и речевой образ (по существу, взаимозаменяемые понятия), формируется словесными образами и в контексте художественного целого представляет сгусток нередко имплицитного смысла, прирастающего на основе ассоциативных словесных связей. Очевидно, мера эстетической значимости речевого образа обусловлена авторской картиной мира.

В. Набоков, по свидетельству исследователей, считал своей главной темой тайну “потусторонности”. Этой огромной темой, включающей и “метафизику” В. Набокова, “пропитаны” произведения писателя (Александров 1997, с 376–378). Она “зашифрована” в мотивной структуре его текстов. Эстетическая напряженность, специфика речевого воплощения центральных в семантико-стилистической системе В. Набокова мотивов определяется художественным мировидением писателя и, если говорить конкретно, включенностью в развитие этой заветной темы.

Можно утверждать, что один из таких мотивов – мотив шахмат – сквозной в творчестве В. Набокова и объединяет ряд его произведений: сборник “Poems and Problems”, содержащий, помимо стихотворений на русском и английском языках, восемнадцать шахматных задач с решениями (такая контаминация заявляет шахматы как вид искусства); романы “Другие берега”, “Дар”, “Защита Лужина”. Последний роман является первым по времени написания. Сложная смысловая структура мотива, его символический план, сформированный в тексте “шахматного” романа, ретроспективно оживает в текстах других произведений В. Набокова, где речевой образ шахмат не занимает ведущего положения в мотивной структуре.

В романе “Защита Лужина” (шахматный термин вынесен в заглавие) мотив шахмат – текстообразующий структурный принцип. Эстетическая значимость мотива проявляется на всех уровнях текста. Прежде всего, очевидна композиционно-сюжетная функция: герой расценивает свою жизнь как повторяющуюся шахматную комбинацию, стремится перехватить у Судьбы инициативу, предвосхитив ее ходы. И находит единственно верный для себя ход – “выпасть” из этой неравной игры. Роман заканчивается самоубийством Лужина. Его мономания – форма безумия.

На языковом уровне номинативный план речевого образа формирует шахматная терминологическая лексика *конь, ферзь, пешка, рокировка, защита, комбинация, партия, тихий ход, сильный ход, двойной шах* и т.д. Смысловая перспектива, семантическая сложность образа определяется его взаимодействием с двумя мотивами – музыки и дуализма (так условно обозначим второй мотив). Мотив музыки проходит через речевой образ шахмат с первых страниц текста: “*Комбинации, как мелодии. Я <...> просто слышу ходы*” (Набоков 1990, т. II, с. 21); “*<...> беглым взглядом скользил по шахматным нотам, угадывал их гармонию*” (там же, с. 28-29).

Образы метафор и сравнений вводят тему музыки, намечая обобщенно-образный план – шахматы, как и музыка, представляют высшую форму искусства.

Сопряжение речевого образа шахмат с мотивом дуализма основано на семантических контрастах словесных образов. В контекстах изобразительно подчеркнута эпитетами материально-вещественная сторона шахмат, передаваемая конкретной лексикой: *фигуры с вычурной резьбой, грубая земная оболочка, крутая грива коня, лоснящиеся головки пешек* (Набоков 1990, т. II, с. 51); *тяжелая желтая пешка, косная черная пешка; резные, блестящие лаком куклы* (там же с. 79) и т.д.

Однако прослеживается нарастание абстрактной лексики, акцентирующей другую сторону образа шахмат – содержательную: *прелестные, незримые шахматные силы; силы в первоначальной их чистоте, сосредоточенная сила, электрическая сила, бесплотные величины* (там же, с. 51), *бесплотная сила, шахматные величины* (там же с. 79) и т.д. Абстрактная семантика строит образ движения некой неплотной субстанции, движения, организованного вдохновением творца: “<...> *все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу*” (там же с. 51).

В повествовании о шахматной партии Лужин – Турати (кульминация романа) оба мотива, до этого развиваясь параллельно, соединяются в речевом образе шахмат:

Сперва шло тихо, тихо, словно скрипки под сурдинку. <...> Затем, ни с того, ни с сего, нежно запела струна. <...> и у Лужина тихохонько наметилась какая-то мелодия. На мгновение протрещали таинственные возможности, <...> и вдруг опять неожиданная вспышка, быстрое сочетание звуков: сибились две мелкие силы, и обе были сметены: <...> Лужин поставил на стол уже не бесплотную силу, а тяжелую желтую пешку; <...> опустилась на стол косная черная пешка с бликом на голове. <...> Трубными голосами перекинулись несколько раз крупнейшие на доске силы, – и <...> опять преобразование двух шахматных сил в резные, блестящие лаком куклы (там же с. 79).

В контексте двух взаимосвязанных мотивов и формируется обобщенно-символический план речевого образа шахмат, отражающий заветные идеи автора, в существе сближающиеся с метафизической эстетикой символизма, теоретиком которой признан А. Белый. Известно, что В. Набоков был знаком и с эстетикой А. Белого, и с его оккультным романом “Петербург” (Сконечная 1997, с. 682), поэтому естественно, что теоретические положения символистской эстетики, которые разделялись В. Набоковым, отразились в ведущем мотиве романа.

1. “*Всякая форма искусства имеет исходным пунктом действительность и конечным – музыку, как чистое движение. Или, выражаясь кантовским языком, всякое искусство углубляется в “ноуменальное”. <...> Или, говоря языком Ницше, всякая форма искусства определяется степенью проявления в нем духа музыки*” (Белый 1994, с. 100–101). Так как “дух музыки” полно и ярко проявился в образе шахмат (о чем свидетельствует слияние с мотивом музыки), шахматы в эстетической системе В. Набокова становятся знаком ноуменального и, как форма искусства, имеют своим источником иное – трансцендентное – измерение.

2. “*Мир действительности <...> есть обманчивая картина, созданная нами. <...> Существует одно движение. <...> В музыке нам открываются тайны движения, его сущность, управляющая миром”, “<...> во всех бесконечных мирах эта сущность одна и та же”* (Белый 1994, с. 100–102). В мотиве дуализма раскрывается принадлежность шахмат двум мирам, двум измерениям: за плотной материальной формой, которая есть свойство земного мира, вырастает образ “чистого движения”, исходящего из ноуменального. Образ шахмат есть символ “моста” между мирами, символ пространства, где заканчивается земной мир и начинается трансцендентность.

Итак, символический план речевого образа шахмат отражает становление важнейших художественных идей В. Набокова, в основе которых метафизические представления о пространстве: 1) утверждение “потусторонности” как трансцендентного измерения бытия; 2) происхождение творческого вдохновения и искусства из этого ирреального мира.

В творчестве С.Кржижановского мотив шахмат также сквозной; проходит через ряд новелл: “Швы”, “Автобиография трупа”, “Проигранный игрок”, – выполняя

в последней новелле, как и в пьесе “Драматургия шахматной доски”, текстообразующую функцию.

В “шахматных” текстах В. Набокова, по существу, не актуализирован философско-этический потенциал семантической оппозиции *черный – белый*. Более того, В. Набоков разбавляет строгую контрастную палитру, снимая тем самым идею противопоставления: *тяжелая желтая пешка* (Набоков 1990, т. II, с. 79); *маленькая красно-белая доска* (там же с. 128) и т.д. Для С. Кржижановского же традиционное смысловое наполнение цветовых символов *черный – белый* чрезвычайно значимо. На это указывает и “открывший” С. Кржижановского исследователь В. Перельмутер, отмечая, что в шахматах С. Кржижановский видел этическую модель мира: *“чистое, беспримесное противостояние белого и черного, добра и зла, вечно неустойчивое их равновесие”* (Перельмутер 1990, с. 25). На основе этой этической оппозиции и организован конфликт пьесы “Драматургия шахматной доски”. Действующие лица, – Белые и Черные, собирательные образы, носители обобщенной этической идеи.

Пожалуй, согласимся с В. Ерофеевым в том, что В. Набоков *“не вымышляет иных миров, реальности, не доступной его земной природе”* (Ерофеев 1997, с. 14): герой шахматного романа, Лужин, лишь в минуты сильнейшего напряжения чувствует себя шахматной фигурой: *<...> такое чувство, будто мозг одеревенел и покрыт лаком* (Набоков 1990, т. II, с. 55); *Ноги от пяток до бедер были плотно налиты свинцом, как налито свинцом основание шахматной фигуры* (там же, с. 82).

Образы развернутых сопоставлений, содержащие мотив шахмат, удерживают правдоподобие на грани реальное – ирреальное. В шахматной же новелле “Проигранный игрок” С. Кржижановского, который, по мысли В. Н. Топорова, *“знал пространство”* и отражал его *“высочайшую-глубочайшую метафизику”* (Топоров 1995, с. 479), главный персонаж Пемброк, охваченный, как и Лужин, мономанией, оказывается в ином, ирреальном, пространстве, во время партии перевоплощаясь в шахматную фигуру, когда душа Пемброка *“соскользнула” в крохотную, поблескивающую мутным черным лаком, головку пешки* (Кржижановский 1991, с. 164).

Таким образом, мотив шахмат у С. Кржижановского сочетается с мотивом метаморфозы, что и обуславливает специфику речевого воплощения мотива. Обобщенно-символический план мотива шахмат формируется: 1) на основе сочетания персонифицированных и метонимических образов, которые подготавливают метаморфозу персонажа; 2) символическими значениями простых кардинальных чисел от 1 до 8.

В древнем каббалистическом учении *“цифры – это материальный образ происходящих во Вселенной процессов, своего рода земные врата творения, проникнув через которые, можно увидеть и все нерукотворное здание”* (Диксон 1996, с. 42). О том, что С. Кржижановский, энциклопедически образованный человек, философ, был приобщен к скрытому знанию, косвенно свидетельствуют его произведения, такие, например, как “Фантом”, “Странствующее “Странно”, “Четки”, “Бог умер”, “Воспоминания о будущем”, “Проигранный игрок”. Неотъемлемой частью оккультного знания является и наука о числах.

Строгое цифровое описание ходов партии составляет часть нарратива в новелле. Вполне вероятно, что эта запись представляет собой зашифрованный “текст в тексте”, и мы можем лишь попытаться обозначить возможный его смысл. Задействованы числа от 1 до 8, которые есть основа пифагорейского нумерологического учения, содержащего ключ к тайнам мироздания. В самом общем виде суть учения в том, что *“начало и конец всего сущего находится в некоей абстрактной величине”*, которая включает в себя все числа, являясь и *“абсолютно непознаваемой пустотой, хаосом”*

и одновременно вмещающая *“в себя всю полноту бытия в виде божественного Света”* (Диксон 1996, с. 18). Ноль (0) – не число – обозначает вечную первозданную пустоту *“с принципом зарождения всех вещей”* (там же, с. 42). Простые кардинальные числа выражают разные фазы движения и проявления Вселенной: от числа 1, символизирующего первое движение Бездны и возникновение Бога (там же, с. 43), до числа 8, манифестирующего и Хаос, и Космос одновременно (там же, с. 62). Число 9 – *“Бесконечная Полнота, Божественный Нерожденный Свет, пронизывающий всю Вселенную”* (там же, с. 64), – совершенно недоступно человеческому сознанию; это число не встречается в тексте.

В повествовании новеллы особенно настойчиво акцентировано число 4: *<...> мистер Эдуард Пемброк скончался <...> тринадцатого октября (в сумме 1+3 = 4) <...> во время четвертого сеанса игры Международного Шахматного Турнира. <...> смерть Пемброка была его последним, правда, несколько неожиданным ходом в партии, кстати, начатой не в четыре тридцать вечера <...>, а несколько раньше...* (Кржижановский 1991, с. 161).

В записи ходов партии число 4 повторяется три раза – чаще, чем другие числа. Последним ходом партии является перемещение пешки на квадрат D-4, партия обрывается накануне четвертого хода. В каббалистической традиции число 4 – *“главная образующая величина, формирующая видимый мир”*, соединяющая материю и дух, принцип высшего порядка (Диксон 1996, с. 50). Символическое наполнение чисел в контексте повествования приоткрывает смысл превращения персонажа: Пемброк, по воле автора манипулируя числами, возможно, слишком приблизился к разгадке тайн бытия: за числами он *“увидел”* проявление инобытия, другого мира: *<...> план огромного фантастического города – паутину спутанных и пересекающихся улочек, улиц, переулков и тупичков* (там же, с. 162).

Последняя перед возвращением в пустоту и метаморфозой реплика Пемброка содержит ноль, знак пустоты, и 8, символ бесконечности бытия: *“Если принять размен пешками, поле е8 обнажится... Теряю 0-0-0... Если же К с6 : d4, то...”* (там же, с. 163).

Но сохранить *“видимый мир”* (число 4) в гармонии с микро- и макрокосмосом (символизирует число 6) Пемброку не удастся, несмотря на последний ход: d4-e5 (число 5 в полном объеме разделяет метафизические свойства числа 4).

Таким образом, у С. Кржижановского речевой образ шахмат соотносится с художественной идеей инобытия, альтернативных ирреальных миров как важнейшей составляющей эстетической системы писателя

Мотив шахмат эстетически значим и в прозе М. Булгакова, проходит через его лучшие произведения – романы *“Белая гвардия”*, *“Мастер и Маргарита”*. В текстах обоих романов речевой образ шахмат, во-первых, подчинен выражению художественной идеи игры и, следовательно, неотделим от семантического поля игры, в котором *“шахматная”* лексика образует микрополе; а во-вторых, взаимодействует с мотивом боевого противостояния. (Заметим в скобках, что последнее наблюдение ассоциативно отсылает к историческим истокам шахмат: предполагают, что первоначально игра в шахматы служила для разъяснения стратегии и тактики военного дела).

Военная ситуация соотношения сил (гетман, немцы и Петлюра) в булгаковском Городе грустно-иронично оценивается автором *“в развернутом образном сопоставлении, опирающемся на языковое переносное значение термина шахматная игра “место, где разворачиваются какие-либо значительные события”* (Бахмутова 1995, с. 121):

Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумелый игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон – офицер, подлетают коварными зигзагами кони, и вот-с, погибает слабый и скверный игрок – получает его деревянный король мат (Булгаков 1989, т. I, с. 224).

Если в романе “Белая гвардия” речевой образ шахмат – форма художественного осмысления реальной исторической ситуации и отношения к ней автора, то в тексте романа “Мастер и Маргарита” – форма представления метафизических основ художественного мировоззрения. Итак, рассмотрим композиционно-смысловую структуру и текстовую функцию данного мотива в “закатном” романе.

Во время подготовки к балу обсуждается шахматная партия между Воландом и Бегемотом, которая происходит в атмосфере дурачеств и розыгрышей кота. Смысловая перспектива, связанная с полем шахматной игры, намечается вначале в авторском комментирующем повествовании, в котором столкновение шахматных фигур трансформируется в образы реального сражения: *Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки-ландскнехты с алебардами растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки, конях (Булгаков 1990, т. 5, с. 249).*

Описание фиксирует центральный момент партии – шах белому королю. Шах – такое “положение фигур, при котором королю непосредственно угрожает нападение со стороны фигуры противника” (ТСУ т. 4, с. 1323). Ключом к пониманию скрытого смыслового плана становится противопоставление *три белых пешки – черные всадники Воланда*, которое строится на антонимии прилагательных *белый – черный*. Терминологические названия фигур во второй части оппозиции заменены сочетанием *всадники Воланда*. В осложненном контексте ассоциативно оживает символика белого и черного цветов, выражающая контраст света и тьмы. Поэтому ситуация шаха белому королю может рассматриваться как противостояние света и тьмы с очевидным перевесом темных (ср.: *на горячих, роющих копытами конях*). В то же время передается эмоциональное состояние надломленности белых; о короле: *совершенно расстроенный, топтался, вздымая руки*; о пешках: *растерянно глядели на офицера*. Однако повествование окрашено насмешливо-ироническим тоном, передающим авторскую оценку ситуации, как и следующий контекст: *Белый король наконец догадался, чего от него хотят, вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски (Булгаков т. 5, с. 249).*

Ирония характеризует поведение белого короля, недостойное его ранга, и выражается стилистическим контрастом книжных оборотов *горячие, роющие копытами кони; вздымая руки* и разговорно-сниженной лексики *топтался, стащил*.

В ассоциативном контексте и формируется семантическая осложненность высказываний диалога, содержащих шахматную терминологию:

– Ну, что же, долго это будет продолжаться? – спросил Воланд. – Шах королю.

– Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, – ответил кот, – шаха королю нет и быть не может.

– Повторяю, шах королю.

– Мессир, – тревожно-фальшивым голосом отозвался кот, – вы переутомились: нет шаха королю!

– Король на клетке Г-два, – не глядя на доску, сказал Воланд.

– Мессир, я в ужасе! – завыл кот, изображая ужас на своей морде. – На этой клетке нет короля! <...>

– Мессир! Я вновь обращаюсь к логике, – заговорил кот, прижимая лапы к груди, – если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным (Булгаков с. 250).

Реплики Воланда актуализируют номинативный план лексики шахматной игры – обозначение шахматной ситуации в партии. А вот высказывания Бегемота развивают второй – имплицитный – смысловой план, раскрывающий концептуальную позицию. Своим шутовским поведением (изгнанием с доски белого короля) Бегемот “снимает” поражение белых и ставит под сомнение победу темных. Разрушением партии, по сути, устраняется ложное противостояние света и тьмы. В этом смысле значимы и мотивированы и авторская ирония в описании белого короля, и деталь повествования в смежных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда.

Итак, символический план речевого образа шахмат, развиваясь на основе взаимодействия авторского повествования и речи персонажей, высвечивает философскую позицию Бегемота, которая состоит в отрицании прямого противостояния света и тьмы и господства одного из этих начал (ср. *шаха королю нет и быть не может*). Эта позиция слуги отражает дуалистическую концепцию господина – Воланда, которая эксплицируется, в частности, в амбивалентном образе тьмы, представленном в диалоге Воланда и Левия; напомним высказывание Воланда: *Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получают от предметов и людей. <...> Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?* (Булгаков с. 350).

Очевидно, что данная позиция соотносится с авторским утверждением двуединства бытия (ср. эпиграф к роману, взятый из “Фауста”:

...так кто ж ты, наконец?

– Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо),

– иными словами, с философской основой романа, с идеалистической концепцией М. Булгакова.

Таким образом, учитывая уникальность эстетической функции мотива шахмат в семантико-стилистической системе каждого писателя, своеобразие речевого воплощения и неповторимую соотнесенность данного мотива с другими в мотивной структуре рассмотренных произведений, тем не менее можно выделить общий смысловой план речевого образа шахмат. Данный символический смысловой план отражает идеалистические представления о мироздании в художественной картине мира величайших писателей XX века.

ЛИТЕРАТУРА

- Александров, В.Е. “Потусторонность” в “Даре” Набокова. В Кн.: *В.В.Набоков: pro et contra*. Спб., 1997.
- Бахмутова, Н.И. Семантическая природа лейтмотива и средства его формирования. В кн.: *Словоупотребление и стиль писателя*. Санкт-Петербург, 1995.
- Белый, Андрей. *Символизм как миропонимание*. Москва, 1994.
- Большая Советская Энциклопедия* [БСЭ]. В 30-ти томах. Т. 29. Москва, 1978.
- Булгаков, М.А. Белая гвардия. *Собрание сочинений*. В 5-ти томах. Т. 1. Москва, 1989.
- Булгаков, М.А. Мастер и Маргарита. *Собрание сочинений*. В 5-ти томах. Т. 5. Москва, 1990.
- Диксон, Олард. *Символика чисел*. Москва, 1996.
- Ерофеев, Виктор. Русская проза Владимира Набокова. *Собрание сочинений*. В 4-х томах. Т. 1. Москва, 1990.
- Кржижановский, Сигизмунд. *Сказки для вундеркиндов*. Москва, 1991.
- Набоков, Владимир. Защита Лужина. *Собрание сочинений*. В 4-х томах. Т. 2. Москва, 1990.
- Перельмутер, В. “Белое” и “черное” Сигизмунда Кржижановского. В: “64”. *Шахматное обозрение*, № 3. 1990.
- Сконечная, О. Черно-белый калейдоскоп. Андрей Белый в отражениях В.В.Набокова. В кн.: *В.В.Набоков: pro et contra*. Санкт-Петербург, 1997.
- Топоров, В.Н. *Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического*. Избранное. Москва, 1995.
- Толковый словарь русского языка* [ТСУ]. Ред. Д. Н. Ушаков. Т. 1 – 4. Москва, 1935–1940.
- Цвейг, Стефан Шахматная новелла. *Собрание сочинений*. В 6-ти томах. Т. 1. Тула, 1994.

Kopsavilkums

Rakstā ir aplūkota šaha motīva estētiskās funkcijas izpausme triju krievu rakstnieku daiļdarbos – V. Nabokova romānā “Lužina aizstāvēšana”, S. Kržižanovska novelē “Zaudētais spēlētājs”, M. Bulgakova romānā “Meistars un Margarita”. Daiļdarbu semantiski stilistiskā analīze parāda motīva iemiesojuma īpatnības katra rakstnieka mākslinieciskajā runā. Turklāt šī analīze atklāj arī kopējo simbolisko jēgu, kas atspoguļo transcendentas pasaules esamības koncepciju un līdz ar to 20. gadsimta izcilo rakstnieku pasaules mākslinieciskā redzējuma metafiziskos pamatus.

Atslēgvārdi: leksiskā semantika, rakstnieka semantiski stilistiskā sistēma, valodas estētiskā funkcija, teksta lingvistika.

Zusammenfassung

Im Beitrag wird aufgrund der semantischen und stilistischen Analyse die ästhetische Funktion des Schachmotivs in den Werken dreier russischer Schriftsteller des 20. Jh. (V. Nabokov, S. Kržižanovskij, M. Bulgakov) betrachtet. Die Sprachanalyse der erwähnten Texte zeigt die Spezifik sprachlicher Darstellung des Motivs, die Eigenart des semantisch-stilistischen Systems jedes Schriftstellers. Aus der Sprachanalyse der Texte kann man erschließen, dass einerseits die ästhetische Realisation des Motivs bei jedem Autor einzigartig ist, dass es aber andererseits einen gemeinsamen symbolischen Simmaspekt gibt, der eine idealistische Weltkonzeption widerspiegelt, d. h. metaphysische Gründe der künstlerischen Weltanschauung der hervorragenden Schriftsteller des 20. Jh.

Schlüsselworte: lexische Semantik, semantisch-stilistisches System eines Schriftstellers, ästhetische Sprachfunktion, Textlinguistik.

Оппозиции “я – ты – они” как смыслообразующие компоненты текста эпопеи

И. С. Шмелёва “Солнце мёртвых”

Opozīcijas “es – tu – viņi” kā I. S. Šmeļova eņopejas
“Mīrušo saule” nozīmes veidojošie teksta komponenti

Oppositions “I – You – They” as Meaning Forming
Components in the Epic

by I. Shmelev “The Sun of the Dead”

Татьяна Куприянова

Sanktpēterburgas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte,

Universitetskaya naberezhnaja 11, 199034

rkispb@mail.ru

Статья посвящена анализу местоименных оппозиций в художественном тексте, позволяющих раскрыть противостояние людей в мире и людей с миром. Это противостояние обнаруживается во всем тексте эпопеи “Солнце мертвых”. Местоименные оппозиции формируют диалог в широком понимании этого слова – на лингвистическом, литературоведческом, философском, онтологическом уровне.

Ключевые слова: язык философской прозы, континуум художественного текста, местоименные оппозиции, семантические связи.

Эпопея “Солнце мёртвых”, по праву являющаяся одним из шедевров литературы Русского зарубежья, была первым произведением, которое И. С. Шмелёв написал в эмиграции.

В центре повествования – трагические события гражданской войны. Глобальная проблема “Солнца мёртвых” – человек и мир – обостряется тем, что предметом изображения становится фрагмент этого мира: полуостров Крым, который сам по себе является пространством античного, мифологического содержания, имеет сложную мифопоэтическую историю, каким-то образом находящую черты сходства с эпопеей. В древних упоминаниях о населявших эти места киммерийцах говорится как о коварных, склонных к предательству людях. Характерной чертой этого народа называли нечестность (Латышев 1947, с. 272–273). Эти экстралингвистические характеристики странным образом накладываются на облик тех власть предержащих, что в “Солнце мёртвых” представлены под общим наименованием *те, что убивать ходят*.

Художественное пространство эпопеи, представляющее собой модель мира автора, – непрекращающийся диалог повествователя со всем его окружающим. Одной из форм реализации диалогизма повествования, открытости авторского сознания миру стало взаимодействие **я** и **ты**.

Одна из идей философской антропологии определяет бытие как диалог между Богом и человеком, человеком и миром. Исходной в таком диалоге становится тема **я** и **ты**, когда проблема человеческого существования углубляется за счёт вживания в мир *другого*, а процесс постижения себя и мира заключается в том, чтобы соотносить в этом процессе себя с *другим*. Таким образом, формулируется идея абсолютной равнозначности **я** и **ты**, которая позволила по-новому расставить акценты в субъектно-объектных отношениях в процессе познания вещи, объекта, чужого мира. Автором этой идеи является философ Мартин Бубер.

Двойственность двойственного для человека мира, как утверждает М. Бубер, выражается двумя парами основных слов: **я – ты** и **я– оно**. Произносящий **ты** не имеет никакого нечего в качестве объекта, потому что **ты** безгранично и составляет целый мир. Другая пара основных слов: **я – оно**, в которой **я** утрачивает жизненную полноту и встает перед вещами, не ощущая их исключительности и чувства мирового единства, которое можно найти только в отношениях. Когда отношения строятся по внутреннему принципу **я – оно**, познаются только суммы свойств, познаётся структура того, с чем происходит контакт, приобретается знание. Но при таких отношениях, при отношениях познания мир безличен, он не откликается, не соучаствует (Бубер 1993, с. 21).

Лингвисты утверждают, что третье лицо есть не– лицо. Это только форма глагольной флексии. Оно может принимать любой субъект или не принимать никакого субъекта, и этот субъект, выраженный или невыраженный, не представляется никогда как лицо. Лицо свойственно только позициям **я – ты**. (Бенвенист 1974, с. 264).

Об уникальности **ты** и типичности **оно** говорят и исследования, пытающиеся понять взгляд на мир древних жителей Египта и Месопотамии, самых цивилизованных людей своего времени, переживания и отношения которых впоследствии легли в основу мифов (См.подр.: Франкфорт и др., 1984).

На подобную личностную специфику указывают и грамматические законы референции: речь идёт о референциальных свойствах нулевого **ты** и нулевого **они** /в обобщённо-личных и неопределённо-личных предложениях соответственно/, которые характеризуются как семантически противопоставленные (Булыгина, Шмелев, 1997). Нулевое **ты** указывает на протагониста, в то время как нулевое **они** указывает на *других*, референтом для которых являются *любые они*. Указывается также на некоторую ограниченность референциального потенциала нулевого **они**, что имеет свою семантическую мотивированность: “местоимение **они** никогда не соотносится с лицом, находящимся в фокусе эмпатии. Референт нулевого **они** – это всегда “*другие*”. Использование нулевого **они** выражает своего рода “отчуждение” (Булыгина, Шмелев 1997, с. 341, с.343).

Постепенно персонифицируясь и вступая в отношения, до того не актуализировавшийся как личность, не сформировавшийся индивид раскрывает свою душу. Первичным в процессе персонификации является не восприятие объекта, а стремление к отношению. Отношение вначале, как категория бытия, как модель души. А существо, в котором начинает действовать дух, тоскует по космической связи со своим истинным **ты**. О нём человек знал уже во чреве матери. Переживаемые в контакте отношения – это и есть реализация твоего врожденного **ты** в **ты** встреченном. И только в этом контакте – осуществление стремления к воссоединению рассечённого на куски пространства, когда “*нарастающая ностальгия по целостности заставляет искать иные способы мышления, не разделяющие, а объединяющие*” (Баранцев 2002, с. 121). В этом – стремление к единству всего человечества в природе, к тому изначальному состоянию, когда в единстве со всем живым люди были счастливы, и за измену которому “*человечество должно платить искупиением*” (Кулакова 1992, с. 17).

Для анализа местоименных оппозиций в “Солнце мертвых” важными представляются исследования Я.С.Друскина (1992, 1994, 2005), на которых мы в рамках данной статьи останавливаться не будем.

В “Солнце мёртвых” географическому пространству равнозначно по открытости другое пространство эпопеи – пространство души и мысли повествователя. Там находит отражение пространство внешнего мира, не удваиваясь, а умножаясь в нём, помещая в себя каждого находящегося в этом внешнем пространстве субъекта. Этот каждый субъект в сознании повествователя не трансформируется как нечто отдельное от познающего и осмысляющего сознания. Он совмещается с его, повествователя, пространством и становится частью пространства его души и сознания. Поэтому адресат размышлений повествователя – не “*объект*”, не **оно**, а уникальное **ты**.

В пространстве текста эпопеи “Солнца мёртвых” автор нередко декларирует запреты, не дающие права думать и обращённые повествователем к самому себе. Эти запреты остались таковыми только на уровне интенций. В них дихотомия субъект– объект проявляет себя в повествователе особенно наглядно: мысля как субъект, повествователь формулировал запрет, выполнение которого предписывалось ему же, но уже в обстоятельствах и значениях объекта. Однако в разворачиваемом повествовании автор аннулировал эту дихотомичность, реализуясь как полноправный субъект, т.е. как равный сам себе в постоянном осуществлении именно того процесса, запрещение которого он /как осознаваемый в себе самом объект своего субъектного начала/ декларировал так часто: “ /.../ *не надо думать: Почему-то кажется мне, что с дремуче-чёрного Бабугана сползает ночь... Не надо думать о ночи... Утро... открывает дали... Не надо оглядываться на дали: дали обманчивы, как и сны...* ” (Шмелев 1991, с. 6).

Постоянные “погружения” повествователя в самого себя полны непрекращающегося обдумывания, обсуждения с самим собой всех проявлений внешнего мира. В этом мире продолжают существование не только такие же, как сам повествователь, “субъектно-объектные” персонажи, но и ощущающие себя “субъектами” и действующие как “субъекты” – *те, что убивать ходят*.

С опорой на экстралингвистические реалии в “Солнце мёртвых” выделена группа лексики, выражающая оппозицию **я – ты – они** и актуальная во всём тексте эпопеи в связи с вопросом о соотношении и противостоянии людей в мире и людей с миром. В эксплицитном **ты** речи повествователя то имплицитное **ты**, которое, прежде чем сказать, **узнал** повествователь: в кипарисе и погибающем коне; в кричащем от голода павлине и одинокой, разбитой дачке; в кровельщике и дубовом пне. Во многих диалогах адресат повествователя – **ты**. Это **ты** не прямого диалога. Это **ты** авторского сознания, но автор говорит с каждым на **я– ты** -языке. Он открывает **ты** в разрушенном домике и в дающем плоды орехе, в умершем уже Рыбаке и в корове-симменталке Тамарке. В “Солнце мёртвых” **ты** – форма универсальной субъективности. И прощание с умирающей курочкой – это прощание с частью живого в своём **я** повествователя, от которого уходит часть его собственного **я**; это то **ты**, к которому тянулось его **ты** из природного единства: “*Я беру её на руки /.../ Ну, посмотри на солнце... ты его любила /.../ А там вон – горы, синие какие стали! /.../ А это, синее такое, большое? Это – море /.../ Ну, покажи свои глазки /.../ Я пошепчу тебе, скажу тебе тихо-тихо: солнце моё живое, прощай! А сколько теперь больших, которые знали солнце, и кто уходит во тьме!.. Ни шёпота, ни ласки родной руки...* ”(там же, 1991, с. 28).

В этом фрагменте **я – ты** – слово повествователя такое, каким говорят с ребёнком. Так успокаивают от боли и слёз. Это лексика и синтаксис последнего прощания.

Соединяющее повествователя и корову-симменталку “и” уравнивает человека и животное на уровне эмоционального переживания в динамической двусторонности: “*Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю... И я не могу понять, Тамарка*” (там же, 1991, с. 12).

Повествователь говорил **я – ты** - слово всему, что должно было жить рядом с ним и его семьёй за несколько лет до описываемого настоящего. Всё, что окружало тогда ещё полного надежд повествователя, было не так уж и значительно: глициния на веранде, чёрный дрозд на верхушке старого миндаля, розовые кусты шиповника. Всё это было живым, переживаемым, охваченным чувством, единым **я – ты**: у белого домика были зелёные ставеньки-уши; павлин к вечеру укладывался спать, как и хозяйка после ужина; а горы отвечали на безмолвный вопрос человека. И каждое дерево услышало в тот давний первый вечер от человека **своё** слово, сказанное человеком **ему** – персику, старому миндалю. И старый дуб был встречен, как ожидаемый друг.

Всё было предметом контакта, ласки, объятия, зоркого взгляда. Ко всем и ко всему было чувство, и всё отвечало чувством. И в этом отношении всё открывало свою сущность, которая “*властно, обнимая собой все свойства*” (Бубер 1991, с. 18), открывалась повествователю в **ты** всех, кто был, и всего, что было рядом. Выраженное в тексте повествования единство человека со всем окружающим служит ещё одним доказательством эпопейности сознания повествователя, а также правомерности отнесения “Солнца мёртвых” к жанру эпопеи. Значимость “Солнца мёртвых” усиливается абсолютной подчинённостью этому единству.

Элементы **я – ты**-языка в тексте эпопеи отсылают к разработке философской литературой первой волны русской эмиграции своего философского языка, в котором выделяется такой “*парадоксальный*” грамматический класс слов, как местоимения, способные выразить невыразимое в слове-идее, передавать мистический жест, онтологическое... касание” (Булгаков 1953, с. 52). **Я – ты**-слова в “Солнце мертвых”, как и всё в повествовании, выражают одну идею – всепоглощающей гибели. Но **я – ты**-тексты обладают большим эмоциональным воздействием, чем другие средства описания гибели. Они непонятным образом делают более осязаемым описываемое, вовлекая в этот эмоциональный контакт, в эти **я – ты**-отношения и читателя. Этот язык соединяет не только говорящего с тем, о ком он говорит, делая их переживания едиными для обоих, эта форма повествования включает и читающего в качестве компонента **ты** при уже свершившейся слиянности **я – ты** сюжетных. Образуется троякая включённость в одно сопереживающее единое целое: “*Понимаю твою обиду, старик... понимаю, что и ты мог заплакать... Калечный, кривобокий, просолённый морем, ты-таки /.../ увидел товарища Дерябу! /.../ Ты, чудак, товарищем называл его, душу ему открыл... рассказал, что у тебя семеро голодают, а ты – больной, без хлеба и без добычи. Надоел ты ему, старик...*” (Шмелев 1991, с. 130).

Чужое страдание, услышанное повествователем, через слово повествователя было услышано читателем. Но в “Солнце мёртвых” есть пример, когда слово повествователя было услышано как **своё** не только читателем, но и одним из персонажей. Просьбу повествователя **услышал** старик-татарин. И прислал ему табак. А повествователь **услышал** ответ татарина. Ответ татарина возродил в душе повествователя утраченного им Бога. К христианину, говорившему о себе: “*У меня нет теперь храма /.../ Бога у меня нет: синее небо пусто*” (там же, с. 16).

Бог вернулся с приходом старика-мусульманина, и повествователь ответил на это молитвой радости и обретения Бога. В Крыму двадцатых годов поступок татарина вернул веру в Бога христианину, тогда как эту веру уничтожили предполагаемые единоверцы – русские, ставшие в годы гражданской войны **теми, что убивать ходят**.

В нашей работе мы понимаем “оппозицию” не как противопоставление “языковых единиц одного уровня, выявляющее различие между ними” (ССИС с. 426) и не как “оппозиции языковые” – лингвистически существенное /выполняющее семиологическую функцию/ различие между единицами плана выражения, которому соответствует различие между единицами плана содержания, и наоборот” (ЛЭС с. 348). Мы понимаем оппозицию, опираясь на исследования Н.Ю.Шведовой (1998), как онтологическое противопоставление разных систем ценностей, которое выражает себя, взяв в качестве формального, внешнего способа выражения слова, омофонные местоимениям русской грамматики.

Выражение *те, что убивать ходят* является единственным в повествовании постоянным сочетанием, эксплицирующим общие черты новых властителей жизни. Частотность и неизменность этого сочетания, референтом которого явились эти новые властители, позволяет говорить о нём как об окказиональном местоимённом образовании с определённым смысловым наполнением: референтные лица лишены черт одушевлённости, присущих означаемым местоимения *кто*.

Обозначающей группы людей стала конструкция *те, что*. Начальное *те* предполагает, что оно будет связано местоимением *кто*. Но этого не происходит. О чём можно судить, исходя из указанного? Во-первых, в этой конструкции имплицитно присутствует местоимение *они*, о значении которого уже говорилось. Во-вторых, автор не только постоянно подчёркивает отделённость, настойчивую дистанцированность себя от *них*. Он ещё и разъясняет их как *что*, а не как *кто*. В “Солнце мёртвых” это местоимение служит для выражения или, правильнее сказать, замещения именно бытийного пространства. Содержательное наполнение этого пространства было в то время достаточно однообразным: оно было полно абсолютной гибели всего существующего.

Выявленная в тексте эпопеи семантика местоименных оппозиций, в центре которой – осознание своего *я* через сопереживание с *другим*, даёт основание предполагать, что нащупываемый повествователем способ преодолеть разрушительное воздействие внешнего мира – единство. Глобальное единство каждого человека друг с другом. Единство, достигаемое пониманием, а понимание, достигаемое через ощущение *другого* как себя самого.

Иван Сергеевич Шмелёв так же, как и все живущие и говорящие, нёс свой крест и рассказывал, оглядываясь назад, наблюдая то, чем было наполнено его *сейчас* вовне и внутри. Однако автор плохо видел себя впереди – в будущем. Но в действительности он оказался впереди не только своих современников, но и живущих в наше время. Эта протянутость эпопеи в будущее своим за-повествовательным содержанием позволяет говорить о включённости произведения, написанного в двадцатые годы прошлого века, в современные исследования проблемы жизни, выживания и продолжения существования человека в мире. Основным художественным приёмом в этом произведении стал диалог в самом широком понимании этого слова.

В июле 1936 года Иван Сергеевич Шмелёв, приняв приглашение Русского академического общества в Риге при участии Союза латвийских писателей, принял тур лекций по Прибалтике, выступив в Риге, Кеммерне, Митаве, Печорах.

ЛИТЕРАТУРА

- Баранцев, Рэм. От бинарных оппозиций – к тернарному синтезу. В кн.: *Онтология диалога: философия и художественный опыт*. Санкт-Петербург, 2002.
- Бенвенист, Э. *Общая лингвистика*. Москва, 1974.
- Бубер, М. *Я и Ты*. Москва, 1993.
- Булгаков, С.Н. *Философия имени*. УМКА–PRESS. Paris. 1953.
- Булыгина, Т.В., Шмелёв, А.Д. *Языковая концептуализация мира: на материале русской грамматики*. Москва, 1997.
- Друскин, Я.С. Видение невидения. В альманахе: *Зазеркалье*. Санкт-Петербург, 1995.
- Друскин, Я.С. Я и Ты. Ноуменальные отношения. В журнале: *Вопросы философии*. Москва, 1994.
- Друскин Я.С. *Перед принадлежностями чего-либо*. Санкт-Петербург, 2001.
- Латышев, В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе В журнале: *Вестник Древней истории*. Reveu d’histoire ancienne. [S.l.], 1947.
- Лингвистический энциклопедический словарь [ЛЭС]*. Москва, 1990.
- Современный словарь иностранных слов [ССИС]*. Москва, 1992.
- Франкфорт, Г.Ф., Франкфорт, Г.А., Уилсен, Дж., Якобсен, Т. *В преддверии философии*. Москва, 1984.
- Шмелёв, И. *Солнце мёртвых*. Москва, 1991.
- Шведова, Н.Ю. *Местоимение и смысл*. Москва. 1998.

Kopsavilkums

Rakstā tiek analizētas vietniekvārdu opozīcijas daiļdarba tekstā, kuras ļauj atklāt cilvēciskos konfliktus pasaulē, kā arī cilvēku konfliktus ar pasauli. Tie atspoguļojas visā I. S. Šmeļova epopejas “Mīrušo saule” tekstā. Vietniekvārdu opozīcijas veido dialogu šī vārdā plašākajā izpratnē, t. i., lingvistiskā, literatūrzinātniskā, filozofiskā un ontoloģiskā līmenī.

Atslēgvārdi: filozofiskās prozas valoda, daiļdarba teksts, vietniekvārdu opozīcijas, semantiskie sakari.

Summary

The article is dedicated to the analysis of pronoun in an artistic Text, which allows to elicit the fact of contracting of different systems of values. This contraposition is revealed through the whole text of the epopee of I. S. Shmelev. Pronoun oppositions form a dialogue in the broad interpretation of this word as a device.

Key words: language of philosophical prose, artistic text, pronoun oppositions, semantic connections.

**Миф об аргонавтах в русской “исповедальной прозе”
60-х годов XX столетия
(на материале романа Василия Аксёнова “Звездный
билет”)**

**Mīts par argonautiem 20. gadsimta sešdesmito gadu krievu
“grēksūdzes prozā”
(Vasilija Aksjonova romāna “Zvaigžņu biļete” materiāls)**

**The Argonauts Myth in Russian “Confessional Prose” of the
60-ies of the 20th Century (by The Example of the Novel by
V. Aksenov “A Starry Ticket”)**

Ирина Реброва

Sanktpēterburgas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte,
Universitetskaya naberezhnaja 11, 199034
rkispb@mail.ru

Статья посвящена анализу интертекстуальных связей в ранней прозе В.Аксёнова. На примере мифа об аргонавтах, который представляет собой “текст в тексте” и является сквозным в композиции романа, демонстрируется возможность использования интертекстуальных знаков в процессе интерпретации художественного текста. Обращение к мифу в художественном тексте, его языковой экспликации, позволяет говорить о прозе шестидесятых годов XX века с позиций ценностной культурной составляющей, выявить культурные концепты, обнаружить приоритеты прозы “оттепели” и связать их с другими произведениями русской литературы XX века.

Ключевые слова: миф, интертекст, интертекстуальность, анализ художественного текста.

Новая антропоцентрическая парадигма в современном языкознании, позволяющая оценивать лингвистические явления с позиций “человека говорящего”, дает возможность рассматривать взаимодействие ментальных и языковых процессов, искать новые подходы к анализу художественного текста (ХТ), говорить о его динамичности, взаимосвязи “с другими текстами как по вертикали (историческая, временная связь), так и по горизонтали (сосуществование текстов во взаимосвязи в едином социокультурном пространстве)” (Бабенко, Казарин 2003, с. 33), а также включать в алгоритм анализа ХТ интертекстуальную составляющую (Бабенко, Казарин 2003; Николина 2003; Денисова 2003; Бабенко 2004).

При этом *интертекстуальность* рассматривается как “соотнесенность ... одного текста с другими (в широком понимании), определяющая его смысловую полноту и семантическую множественность” (Николина 2003, с. 225), а интертекст предстает не только как “явление скрещения, контаминации текстов двух или более авторов

(а также не имеющих личного автора”), но и как “естественная среда бытования культурных концептов в словесной или иной форме” (Степанов 2001, с. 3). Анализ интертекстуальных связей в ХТ с целью его интерпретации, как правило, не учитывает “лингвокультурное сознание” (Денисова 2003) языковой личности, различные функции интертекста на фоне композиционного развертывания, а также оставляет в стороне языковую экспликацию интертекстуальных знаков, их реализацию с позиций речевых партий персонажей. Обратим внимание на эти факторы в процессе рассмотрения мифа об аргонавтах, “текста в тексте”, в романе В.П.Аксенова “Звездный билет”.

“Звездный билет”, появившийся впервые в 1961 году в журнале “Юность”, относят к художественному течению, получившему определение “исповедальная проза”. Для “исповедальной прозы” был характерен особый тип героя, свой круг проблем, стилевые и жанровые константы (Лейдерман, Липовецкий 2003, с. 151).

В силу идеологических причин в 70–80-е годы прошлого столетия к анализу творчества В.Аксенова, в основном, обращались западные исследователи (см.: Ефимова 1993). В России с позиций интертекстуальных связей рассматривалась поздняя проза писателя. При этом отмечалось, что “чтение произведений В.Аксенова всегда приводит к интертексту, который варьируется в зависимости от читателя и его эрудиции”, а также особо подчеркивалось, что стиль писателя можно охарактеризовать как “интертекстуальный” (Ефимова 1993, с. 13).

Межтекстовые связи в романе “Звездный билет” интересны не только с точки зрения особенностей стиля писателя, но и образования подтекста на фоне композиционного развертывания сюжета. Композицию, вслед за К.А.Роговой, можно определить “прежде всего как речевую реализацию “сценария” повествования – развития событий во времени и пространстве с разработкой “фона” их протекания и представления участников” (Рогова, в печати).

Действие романа “Звездный билет” разворачивается в Советском Союзе в 60-е годы прошлого века. В центре повествования – судьбы двух братьев Денисовых: двадцативосьмилетнего Виктора и семнадцатилетнего Димки. События в жизни братьев в тексте романа развиваются параллельно, сопоставляются и образуют две линии повествования, что проявляется на уровне композиции.

Роман начинается повествованием от лица старшего брата Виктора Денисова (Ich-Erzählung), включает повествование от третьего лица, затем вновь возвращается к описанию событий от лица старшего брата и заканчивается рассказом от лица младшего брата Димки. Таким образом, повествование от первого лица образует круг, который обрамляет различные диалоги героев и рассказ автора о событиях.

Данное повествование скрепляется античным мифом об аргонавтах, который является сквозным в композиции романа. Отметим, что в анализируемом произведении встречаются также и иные интертексты, которые в рамках статьи не рассматриваются.

Аргонавты, как известно из греческой мифологии, – это моряки с корабля “Арго” (‘быстрый’), которые под предводительством героя Язона (Ясона) отправились в Колхиду за золотым руном. Аргонавтами называют отважных мореплавателей и путешественников, искателей приключений (Берков и др., 2000, с. 30). Обнаружение известных событий из мифа-путешествия за золотым руном в тексте романа распознается через определенные ситуации в жизни младшего брата Димки и его юных друзей: Галки, Альки, Юрки. Юные москвичи, только что окончившие школу, решили бросить все и уехать из Москвы, попытать счастья на побережье Финского залива.

В романе апелляция к мифу-путешествию происходит на языковом уровне через номинацию *аргонавты*, которая включена в телефонный разговор братьев Денисовых и используется в прямой речи старшего брата для характеристики друзей Димки. Этот разговор находится в первой части романа и оформлен как фрагмент пьесы с именами действующих лиц и их репликами. Ср.:

ДИМКА: Мы едем в Таллинн.

Я: Почему в Таллинн? Вы же собирались в Ригу.

ДИМКА: Говорят, в Таллинне еще интереснее. Масса старых башен... А климатические условия одинаковые.

Я: Понятно. Ну, пока. Привет всем аргонавтам (с. 85).

Следует отметить, что до этого разговора старший брат был свидетелем обсуждения грядущего путешествия, подготовка к которому также описана в первой части романа. Здесь же имплицитно представлена будущая связь юных героев с морем, которая содержится в словах Виктора: *Я вспоминаю, как несколько лет назад эти ребята построили в Доме пионеров яхту, управляемую по радио. Вот это было чудо!* (с. 78).

Предстоящее путешествие юных друзей имплицитно в слове *яхта* и предначертано судьбой, которую никто не может изменить. Этого не смог сделать даже старший брат, который (надеясь повлиять на решение Димки) подбрасывает монетку. Монетка падает орлом, но это не оказывает никакого воздействия на младшего брата, который еще раз бросает монету сам: *Кажется, он тоже немного умеет бросать так, чтобы получалось то, что ему хочется* (с. 79). Таким образом, из античного мифа заимствуется мотив судьбы, который в “Звездном билете” связан с подбрасыванием монеты.

Далее номинация *аргонавты* встречается в сильной позиции текста, заглавии второй части: “Аргонавты”. В этой части есть аллюзия, обнаруживающая себя в тексте-реципиенте через образ Альки, Алика, Александра Крамера, который характеризуется как *сценарист, беллетрист и поэт*. Лексема *поэт* содержит отсылку к древнегреческому поэту Орфею, который также, согласно мифу, отправился в путешествие вместе с Ясоном.

Во второй части количество юных аргонавтов на определенный период расширяется за счет знакомства с неким Янсонсом. Имя собственное *Янсонс* представляет собой “звуко-слововой” (Фатеева 2000) случай интертекстуальности (ср.: *Янсонс и Ясон*) и эксплицируется также на уровне атрибута Янсонса - судна (*владелец судна*). Встреча с Янсонсом – случайность и похожа на сказку: он отказывается брать деньги за комнату. Связь с претекстом подчеркивается необычностью, “мифологичностью”, сказочностью, чужаковатостью этого персонажа и на языковом уровне представлена лексемами *загадочный анималист* (Аксенов с. 102) *чудаки, сказка*. Ср.: *Так что с устройством быта все произошло легко, как в сказке. /– Чудаки не дадут нам погибнуть, – сказал Димка, ликуя (там же с. 97).*

В античном мифе важную роль играет не только путешествие, но и его цель - золотое руно. *Золотое руно* – книжное выражение, обозначающее в русском языковом сознании ‘богатство, цель какого-либо завоевания’ и также восходящее к мифу об аргонавтах (Берков и др., 2000, с. 188). В тексте романа (в различных его композиционных частях) можно обнаружить слова и словосочетания с корнем *-золот-*, т.е. в “Звездном билете” заимствуется только один элемент из претекста.

Слова с корнем – *золот-* могут употребляться в произведении В.Аксенова в значении ‘деньги, богатство’ с различными коннотациями и вступать в парадигматиче-

ские отношения с лексемами другого корня. Например, сближение со словами *карта*, *сторулевки*, *тыщонки*, *бумажки*, *фальшивомонетчик* порождает отрицательные коннотации, связанные с деньгами, нажитыми нечестной игрой в карты, посредством обмана, а сближение со словом *деньги* – положительные коннотации, актуализирующие значение ‘плата за честный труд’. Попутно заметим, что отрицательное оценочное значение усиливается за счет суффиксов –к-, -онк-.

Ср. гл. 7: *ДИМКА ИГРАЛ В ПОКЕР. У него была хорошая карта. Все уже спасовали. ... Перед игрой Фрам шепнул Димке: “Блефуй, как можешь. У них нервы слабые”* (Аксенов 1990, с.127). *Он (противник – И.Р.) долго возился в карманах и протянул Димке сторулевую бумажку. Димка взял ее и посмотрел на свет./ “ Будем друзьями, – сказал он, – если ты не фальшивомонетчик. У тебя отличная лысина, мой друг. Ее хочется оклеить этими бумажками. А хочешь, я сошью тебе тубетейку из сторулевок? Тебе очень пойдет такая тубетейка. Хочешь сошью? Возьму недорого – тыщонку две”* (там же с. 132). *Ребята работали грузчиками вот уже целую неделю. ...Ребята расписались в ведомости и получили деньги* (там же с. 140, с.142).

По мере развития сюжета лексема *золото* получает положительную оценку, используется в переносном значении для характеристики окружающих людей и их отношений, находится в позиции предиката и выражает не материальные, а духовные отношения: *Вечером мы сидим все в кофике, 18 рыбаков с сейнера СТБ. Все свои ребята, ребята – золото. И все-таки мы обставим экипаж 93-го* (там же с. 215).

Оценка человеческих поступков и окружающих людей происходит через актуализацию элементов претекста: корабль (*сейнер*) и *золото*.

В заключительной части романа слово *золото* (в составе устойчивого сочетания *записать золотом*) употребляется в контексте, связанном с гибелью старшего брата. Здесь актуализируется сема ‘блеск’, которая подчеркивает не блеск “презренного металла” – денег, а ясность человеческой памяти и яркость ушедшей личности: *Виктор, слышишь ты меня? Я тобой горжусь. Я буду счастлив, когда время придет, и твое имя... запишут куда-то золотом, наверное, это хотел сказать профессор”* (там же с. 217).

Именно этот компонент значения слова *золото* ‘свет, блеск’ сближает эту лексему со словообразовательным рядом с корнем – *звезд-* и сильной позицией текста: заглавие всего романа, что находит отражение также в его финальных строчках: *Я лежу на спине и смотрю на маленький кусочек неба, на который все время смотрел Виктор. И вдруг я замечаю, что эта продолговатая полоска неба похожа по своим пропорциям на железнодорожный билет, пробитый звездами/ Интересно, Виктор замечал это или нет?/Я смотрю туда, смотрю, и голова начинает кружиться, и все-все, что было в жизни и что еще будет, - все начинает кружиться, и я уже не понимаю, я это лежу на подоконнике или не я. И кружатся, кружатся надо мной настоящие звезды, исполненные высочайшего смысла. /Так или иначе. /ЭТО ТЕПЕРЬ МОЙ ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ! /Знал Виктор про него или нет, но он оставил его мне. Билет, но куда? (там же с. 217).*

Таким образом, выявленное сближение позволяет говорить о том, что в финале анализируемого романа лексемы *золото*, *звезды*, *звездный билет* имплицитно представляют важный элемент претекста – *золотое руно*, за которым скрывается смысл ‘истинная/мнимая цель путешествия, цель жизни’. Истинность достижения цели путешествия подчеркивается обретением подлинных приоритетов в жизни. Ср.: *настоящие звезды, исполненные высочайшего смысла*. Для младшего брата Димки начинается новая жизнь с иными ориентирами и ценностями. Финальные фразы романа свидетельствуют о свободном праве человека самому решать свою судьбу, не

отдавая ее на волю случаю, предстоящему в виде монеты (см. выше).

Миф об аргонавтах, который впервые появляется в романе в речи старшего брата, получает свое логическое завершение в финале “Звездного билета” в словах младшего брата. Следовательно, такая разработка мифа, как на уровне речевых партий персонажей, так и на уровне композиции приводит в финале к снятию противоречий между братьями, проявляющихся в начале романа.

За языковой экспликацией мифа в романе В. Аксенова скрываются концепты путь и судьба, что еще раз подтверждается их выражением “*в словесной или иной форме*” (Степанов 2001, с. 3) в приведенном выше фрагменте текста: *звездный билет; небо; железнодорожный билет, пробитый звездами; звезды; билет, но куда?*

Концепты ПУТЬ, СУДЬБА, находящиеся в мифе об аргонавтах в отношениях взаимного пересечения, связывают роман “Звездный билет” с вечностью, с неизменными ценностями, раздвигают временные границы, а также позволяют рассмотреть этот текст как “текст судьбы”: “*Цель текста судьбы не ограничена изложением событий. Его автор ставит перед собой задачу их осмысления, в зависимости от которого он интерпретирует случай и случайные связи между событиями. Он ищет в конкретной жизни проявление высшего разума и высшей воли. В качестве носителя судьбы обычно избирается лицо, отмеченное индивидуальностью и призванием*” (Арутюнова 1994, с. 315).

Рассмотрение мифа об аргонавтах показывает, что он представлен такими интертекстуальными знаками, как имена собственные, номинацией *аргонавты* и аллюзиями без атрибуции. С учетом такого фактора, как “*лингвокультурное сознание*” (Денисова 2003), можно говорить о том, что анализируемый миф соединяет роман В.П.Аксенова с произведениями символистов, в частности с творчеством А. Белого периода 1900–1904 гг. В это время в Москве был организован кружок “аргонавтов”, для которого своеобразным паролем стало стихотворение А. Белого “Золотое руно”, а будущие судьбы человечества объяснялись через наблюдения над явлениями природы. (см. подробнее: Лавров 1978).

Таким образом, можно предположить, что использование мифа об аргонавтах актуально в переломные моменты жизни общества. Этот миф давал “*ощущения конца века*” и чувства “*рубежа*”, за которыми должно открыться все новое” (Лавров 1978, с. 137). Известно, что для начала XX века ключевым словом было слово *кризисность*. Для эпохи “оттепели”, наступившей за годами правления Сталина, также был характерен кризис прежней идеологии и собственных убеждений. Произведения символиста А. Белого начала XX века и роман шестидесятника В. Аксенова отражают переломные периоды в жизни общества, “тоску по мировой гармонии”, по мировой культуре, демонстрируют поиски новых проявлений возможностей человека, веру в него, его разум, а также обнаруживают желание выйти за границы очерченного “московского” пространства.

Итак, рассмотрение мифа об аргонавтах в романе “Звездный билет” позволяет говорить о том, что этот миф задает модель поведения человека, делает акцент на реализации способностей личности, на ее внутренней свободе, обретении истинной цели в жизни. Миф является не только проявлением “интертекстуального” стиля писателя, проявившегося уже в ранней прозе В. Аксенова, но и служит ключом к пониманию всего его творчества, раскрытию смысла художественного текста.

Рассмотренный “текст в тексте” представляет собой ту ценность, которая дает возможность по-новому взглянуть на художественную литературу 60-х годов прошлого века, выявить ее приоритеты и те вечные смыслы, которые делают “исповедальную прозу” шестидесятников актуальной для современного читателя.

ЛИТЕРАТУРА

- Аксенов, В. Звездный билет: Роман. В кн.: *Оттепель.1960-1962. Страницы русской советской литературы*. Составитель С. И. Чупринин. Москва, 1990.
- Арутюнова, Н.Д. Истина и судьба. В кн.: *Понятие судьбы в контексте разных культур*. Ред. Н.Д. Арутюнова. Москва, 1994, с. 303-316.
- Берков, В.П., Мокиенко, В.М., Шулежкова, С.Г. *Большой словарь крылатых слов русского языка*. Москва, 2000.
- Бабенко, Л.Г., Казарин, Ю.В. *Лингвистический анализ художественного текста*. Москва, 2003.
- Бабенко, Л.Г. *Филологический анализ художественного текста*. Москва, 2004.
- Денисова, Г.В. *В мире интертекста: язык, память, перевод*. Москва, 2003.
- Ефимова, Н.А. *Интертекст в религиозных и демонических мотивах В. П. Аксенова*. Москва, 1993.
- Лавров, А.В. Мифотворчество “аргonavтов” В кн.: *Миф. Фольклор. Литература*. Ленинград, 1978, с. 137-170.
- Лейдерман, Н.Л., Липовецкий, М.Н. *Современная русская литература 1950-1990-е годы*. Т. 1. Москва, 2003.
- Николина, Н.А. *Филологический анализ текста*. Москва, 2003.
- Рогова, К.А. *Художественный текст. Структура. Язык. Стиль*. 2-е изд. пер. и доп. Санкт-Петербург. [В печати].
- Степанов, Ю.С. “Интертекст”, “интернет”, “интерсубъект” (к основаниям сравнительной концептологии). Т. 60. В журн.: *Известия АН. Серия литературы и язык*, № 1, 2001, с. 3-11.
- Фатеева, Н.А. *Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов*. Москва, 2000.

Kopsavilkums

Rakstā tiek aplūkoti V. Aksjonova agrīnā posma prozas intertekstuālie sakari. Intertekstuālo zīmju izmantošanas iespējas, interpretējot daiļdarba tekstu, tiek demonstrētas uz mītu, par piemēru ņemot argonavtus. Šis mīts ir “teksts tekstā” un uzskatāms kā aptverošs romāna “Zvaigžņu biļete” kompozīcijā. Pievēršanās mītam daiļdarba tekstā, mīta valodiskajai izpausmei ļauj spriest par 20. gadsimta sešdesmito gadu prozu no kultūras vērtību viedokļa, atklāt kulturālos konceptus, kā arī šīs prozas prioritātes.

Atslēgvārdi: mīts, interteksts, intertekstuālie sakari, daiļdarba teksta analīze.

Summary

This article is dedicated to the analysis of intertextual connections in V. Aksenov's early prose. The myth on Argonauts, which is taken as an example and representing “text in the text”, runs through the whole composition of the novel. This example demonstrates the possibility of using intertextual signs in the process of interpretation of artistic text. Handling of a myth in an artistic text, its linguistic explication allows us to speak about from the point of view of valuable cultural component and elicit priorities of the prose in the period of “thaw” and connect them with other literary works of the 20-th century.

Keywords: myth, intertext, intertextual connections, analysis of the artistic text.

Усвоение местоименной флексии *-ogo* прилагательными в древнерусском языке

Vietniekvārda galotnes *-ogo* izplatīšanās senkrievu valodas īpašības vārdos

Adoption of the Pronominal Ending *-ogo* in the Old Russian Adjectives

Анатолий Кузнецов

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte,
Vienības 13, Daugavpils, LV-5401
kuznec@dau.lv

В древнерусском языке членные флексии прилагательных в единственном числе сохранялись до XIII века. В парадигме мужского и среднего рода только в дательном падеже стяженная флексия *-ому* уже в XI веке совпала с местоименной флексией. Основной причиной, сдерживающей влияние местоимений на склонение прилагательных, было различие в ударении на флексии. В родительном падеже новую флексию *-ogo* получили прежде всего прилагательные с безударным окончанием. Передвижки ударения в результате аналогических процессов позволили усвоить новую флексию и другим прилагательным.

Ключевые слова: прилагательные, местоимения, родительный падеж, единственное число.

История форм косвенных падежей единственного числа прилагательных на этапе вытеснения именных форм «полными» пошла по пути, прямо противоположному истории форм множественного числа. Во множественном числе сохраняются поныне членные формы (*добрые, добрых, добрым, добрыми*), причем адъективное склонение оказало влияние на местоименную парадигму: неличные местоимения заимствовали флексии прилагательных (*иные, иных, иным, иными*). В единственном числе, наоборот, прилагательные усвоили флексии местоимений (муж.-сред. р. *доброго, добромu, o добром*; Р=Д=Т=МП жен. р. *доброй*). Парадигма муж.-сред. рода в плане усвоения местоименных форм явно отставала от женской. Так, даже новые – «полные» – формы прилагательных в рукописях XI веке представлены с членными окончаниями *-яго/-яаго, -юмоу/-юумоу* и т.п. Причина долгого сохранения членного склонения в парадигме муж.-сред. рода, вероятно, кроется в том, что здесь еще долго сосуществовали нестяженные и стяженные формы. Наличие нестяженных форм, флексии которых не совпадали по количеству слогов с местоименными, тормозило процесс. В женской же парадигме подобных различий не было.

Единственной формой с местоименным окончанием, представленной большим количеством примеров уже в рукописях XI века, можно считать форму ДП муж.-сред. рода на *-ому*. Эта инновация отмечается и в старославянских памятниках. Причем для местоименного прилагательного *дрoугомъ* – Сав. кн. 52а (Л. 7.8), 37а (Мт. 8.9), 58б (Л. 9.59), 130б (Ин. 19.32); Асс. (Ин. 19.32); Зогр.₂ (Мт. 20.30) – А. Вайан (1952 с. 183) находил аналогю с местоимением *иномоу*, однако не для всех прилагательных

можно такую аналогию найти: *ц(кѡ)тѡмоу* Асс. 32 об., Унд. 48; *клагѡкѣрном(оу)* Асс. 146 об.; *прѣкѡмоу* Зогр.₂ (Мт. 21.28); *послѣдѣнем(оу)* (Мт. 20.14); *дреклан(-е)моу* Син. тр. Ы₂. Продолжая ряд аналогий, А. А. Гиппиус (1993 с. 73) соотнес *прѣкѡин* с *одинѣ* (*къдннѣ*), *кѣторѣин* с *дрѡугѣин*, *прѣкѡин* с *послѣдѣнннн*, а для *скѡтѣин* предложил синтаксическое объяснение – субстантивацию. Действие семантических и синтаксических факторов следует признать, но уже в старославянской письменности круг лексем с новой флексией шире, чем предлагается в семантических сближениях. Опережающие темпы распространения флексии *-ому* есть возможность объяснить и простым фонетическим совпадением в результате стяжения флексии *-ујему* > *-оуму* > *-ому*.

На все рукописи XI века приходится только один пример с новой флексией **В=Р**: *свѣта тѣ вѣторого* показана Мин 1097, 33б, до последнего времени не замеченный исследователями¹. И в письменности XII в. примеров с флексией *-ого* не много (сводка примеров дана в Гиппиус 1993 с. 74, с. 83): **РП (тв.)** – *роусьского* Надпись на печати Владимира Мономаха (киевский князь с 1113 г. по 1125 г.); *великого* кнѣ[зѣ] Надпись на чаре Владимира Давыдовича до 1150 г.; града *нарѣчаемого* виссаида Евангелие («Музейное») XII/XIII (РГБ, Рум. 104 – СК № 145), 65; *того* иоана зла(т)оустаго слово СБУ XII/XIII, 260г.; **В=Р (тв.)** – *югоже съволькъ* и *нагого* поставивъ СБВ к. XII, 129²; *гѣ къгда тѣ видѣхомъ* альчѣна и жадѣна или шоужего или *нагого* Евангелие Типографское XII (РГАДА, ф. 381, № 6), 149 об. (Мф. 15.24; эта же форма и в «Музейном» евангелии, л. 114); (**мяг.**) – *възлюбиши* *искрънего* своего *яко* самъ сѣ Галицкое Евангелие 1144 г. (ГИМ, Син. 404), 42.

Добавим сюда еще примеры: **В=Р** – *помилоуи* *мѣ* раба своего *лазора* *попа* *грѣшного* *зѣлааго* Надп. (В.) № 149 (2), XII в.; **РП** – *Егупта* соуща *древле* въ *мрацѣ* *гѣ*. *дѣвици* бо *мѣтри*. *просвѣтова* *ѣко* *младенць*. *съшьдѣ*. *того* *обличи* соуетоу. *оучениемъ*. *богласнаого* *мрака*. *моудре* *члѣвколюбче* Мин XI/XII (апр.), 91 об. (Мурьянов 1980, с. 109)³ (контаминированы членное и местоименное окончание; возможно, здесь отражено фонетическое изменение *-ајего* > *-аого*); *стоо*. Пантелѣмона <т. е. *свѣтоо* с утратой интервокального *γ*, см. ниже о формах на *-аа*> Стихирарь XII, 170 (БАН, 34.7.6 – СК XI–XIII № 98) (Крысько 2004, с.45). Менее надежен пример: *до послѣдѣниго* *днѣ* СБТр XII/XIII, 9 об. (писец принял *к* за *н*?).

Только в XIII веке количество примеров с новой флексией **РП** и **В=Р** резко возрастает: (**тв.**) – и *даръ* *животворѣщаго* *того(го)* <то, что *-го* надписано сверху, делает пример менее достоверным> *дха* ЖН 1222, 34б; *имене* *ради* *твоего* *того*, 168в; *мола* *благого* *ба* о *стадѣ* *своемъ*, 154в; и *мене* *грѣшного* *раба* *своего* *кюрила* *избави* 175б (запись писца); *изъ* *гочкого* *бѣрѣга* ГрС, 23 bis, 24 (1229, сп. А 1277–1279); *оу* *латинеского* *члѣвка* 23; *оу* *полотьского* *кнѣзѣ* *вълѣсти* 24; *оу* *витьбеского* *кнѣзѣ* *вълѣсти* 24; *кнѣзѣ* *смольнеского* 24; ... *соцекого* *а* *пос...* ГрБ № 294, 20–60 XIII; *потвердихомъ* *мира* *старого* ГВНП № 28, 1189–1199, сп. 1259–1263; *съ* *гъцького* *берега* ГВНП № 29, 1259–1263; *привезоша* *дмитра* *мирошкиница* *мрътвого* ЛН XIII, 75 (1209); и *поу(с)ша* с *нима* *църньѣ* *васиѣна* *попа* *а* *дрѡугого* *по(п)* *бориса* 92 об. (1219); *на* *тысѣчского* *вѣцеслава* 10б об. (1228); *до* *пѣтого* *сбора* КН 1285–1291, 495г; *того* *пѣтого* *сбора* 495г; *Житыѣ* *оубо* *рече* *ч(с)того* *слѣдъ* *поустыинѣмъ* *вонѣ* 501а; *юже* *въпраша* *кн(с)па*. *нооугородьско...* <дыра в рѣп.> *ниѡнта* 518а; и *погребе* *собе* *живого* 571а; и *оубиша* и в *римѣ* *пѣного* 571б; *оу* *тъ* *гривенъ* *серебра*. *корного* Гр ок. 1300 (риж.); (**мяг.**) – *не* *могоуть* *юго* *поустити* *тъщего* ПНЧ н. XIII, 122в; *аже* *не* *ѡложишь* *лишнего* *дѣла* Гр ок. 1300 (риж.).

Рядом с флексией **РП** *-ого* в древней письменности фиксируется флексия *-ога*, которую нельзя объяснить иначе как результат влияния именной флексии муж.-сред. рода *-а* **-ѡ*-склонения. Эта флексия известна и в сербском языке. Возможно,

что у прилагательных ей предшествовала флексия *-ага*, т. е. членная флексия с уподоблением второго гласного флексии существительных: глсь *вьнѣщага* въ поустыни Евр XI, 9г (Мт. 3,3); несколько примеров привел В. Б. Крысько (1998, с. 84): *тъмьнага* старѣшиноу ѿгониши, блжне Мин 1096, 83а; На дрѣвѣ възвѣшениемъ образующи стра(с) крстмъ змиа, мчнче, *лотага* оумьртвивѣша Мин 1097, 58а⁴; стго петра *альѣандрѣскага* КУв сер. XIII, 1066; генадия *прѣстага*. патриарха 107в; члвкъ бѣ иксарьма *фемасуфьскага* Пал XIV₂, 2716–в; пленения же *грѣховнага* Пр 1383, 68в. Во всех случаях можно подозревать буквенную аттракцию, однако если для флексии *-ага* предполагается влияние именного склонения, то нет причин отказывать более ранней флексии *-ага* в том же влиянии. Возможно, эту флексию отражают приведенные М. Ф. Мурьяновым (1980, с. 107, с. 109) примеры: Дѣва днсь *пребогатаа* <= пребогатага; τὸν ὑπερούσιον> ражаєтъ Типографский устав XI/XII, 46 (Третьяковская галерея, К-5349); Свѣтъ ты миру прѣбгате. ѿ *прѣваа* свѣта. <= *прѣвага*; Φῶς τὸ τοῦ κόσμου, πανόλβιε, παρὰ τοῦ πρώτου> ависа иакове Мин XI/XII (апр.), 107. В них предполагается выпадение фрикативного [γ] в интервокальном положении, что доказывается и другими примерами: Прабаба словесы. прѣльщающаго ю. *исельшао* <= и *исельшаго* ‘выселившего’> раа дрѣвле. зрѣщи ногама попираема. стхъ жень... <‘Н проμήτωρ τὸν ταύτην λόγοις δελεάσαντα καὶ ἐξοικίσαντα Παραδείσου πάλαι καθορώσα ποσὶ συμπατούμενον ἱερῶν γυναικῶν> Миня (июль) XI/XII, 21 (РГАДА, Тип. 121) (Мурьянов 1980, с. 110)⁵; *стоо*. Пантелѣмона. Стихирарь XII, 170 (Крысько 2004, с. 45).

Что касается флексии *-ага*, то сегодня нет сомнений в ее реальном существовании: примеры отмечены в старославянской письменности – *сѣга* Мар. ев. (Мк. 6.14), кога Супр. 435₂₂, нѣкога 275₂₃, клѣкога 457₁₃, кга 509₂₁, кокга 441₂₀ (Вайан 1952, с. 166), имеются они и в берестяных грамотах Новгорода. По мнению А. А. Зализняка (2004, с. 120, с. 152), продолжением флексии *-ага* в современных говорах русского Севера является флексия *-ова*⁶. Иначе объясняет происхождение окончания *-ова* В. Б. Крысько (1994а, с. 23–24), указавший на нефонетический характер процесса: флексия *-ого* сначала дает фонетический результат *-ово*⁷, и уже эта флексия под влиянием именного склонения изменяется в *-ова*. Наиболее ранний пример отметил А. А. Зализняк: А сере(б)ра *голо(в)нова* пл(т)деса(т) рубле(в) АСВР, I, № 71 (ок. 1430). Таким образом, в разное время три флексии (*-ага*, *-ого*, *-ово*) испытали воздействие именного склонения.

Флексия *-ага* сначала фиксируется у местоимений, поскольку им исконно принадлежало окончание *-ого*, а с XIII века – у прилагательных: *огна* и *пишта*: и *желѣза*: и *мьнога* *инога*. <здесь, впрочем, возможно повторение конца предшествующего слова> ни *ѣдинога* же (не)потрѣбна не свѣмъ ГБ XI, 30γ; без *тога* вола KE XII, 16а; *ѣдинога* га ба знаємъ КондБлаг XII/XIII, 82а; наслажаєшисл... *обжиа* *пачеоумнога* МинПр 1260, 64 (Крысько 1998, с. 84); ѿ *осмога* дни Прм 1271, 231 об. (пример зафиксирован Н. М. Каринским, см. (Крысько 1994а, с. 23; Зализняк 2004, с. 120)); и понеже *тога* зла се обок КН 1285–1291, 476; соудомъ *градьскога* ипар(х)а 484; по пришествию лѣта *тога* 491 об.; ѿ *радованага* юмоу стажаниа 492а; първаго и *второга* сбора 496г⁸; мыла. на бѣлкоу *боургалскога* ГрБ № 288, 10–30 XIV; *оу другога* ГрБ № 689, 60–80 XIV; Равно *другога* свѣщаныя ЛЛ 1377, 11 (945); *оу города Вру(ч)ога* <на следующей строке: *оу Вручего*> 23 об. (977); *приаьл* бо бѣ Данила. како *милого* сна своего ЛИ ок. 1425, 245 об. (1202). Эта флексия была характерна для севернорусских говоров (Зализняк 2004, с. 120, с. 152), но в письменности широко не использовалась.

Новые флексии *-ого/-его* в XIII веке еще сосуществуют со старыми членными в деловой и бытовой письменности Смоленска и Новгорода. А. А. Зализняк (2004,

с. 120) приводит как самую последнюю в берестяной письменности Новгорода членную форму: *a ci vosoprašeeť mestilovъ сыно чого малаго даи* <‘А если запросит Местиллов сын чего-нибудь небольшого, то дай’> ГрБ № 68, 60–70 XIII. Причин столь медленного усвоения прилагательными местоименной флексии -ого, вероятно, несколько. Во-первых, стяжение флексии -ааго не было кратким процессом, так же как и стяжение в ДП. Во-вторых, могли мешать и акцентные различия в адъективной и местоименной парадигмах. Так, если прилагательные могли иметь наосновное ударение: *мáл-а-го, мáл-у-му* (акцентная парадигма *a* – с неподвижным ударением на основе), *дóбр-а-го, дóбр-у-му* (парадигма *b* – с смежно-подвижным ударением⁹) и ударение на соединительном морфе: *жив-á-го, жив-у-му* (парадигма *c* – с маргинально-подвижным ударением), то окончания местоимений были или безударными: *ín-ого* (акцентная парадигма *a*), или конечноударными: *он-огó, он-ому́* (парадигма *b*), *сам-огó, сам-ому́* и *как-огó, как-ому́* (Зализняк 1985, с. 131–143). Получить местоименные флексии было достаточно легко прилагательным акцентной парадигмы *a* и *b*, недаром древнейшие примеры зафиксированы с прилагательными *вѣтѣр-ого, русьск-ого, велик-ого*. Чуть позже появляются новые формы у прилагательных акцентной парадигмы *c* – *свят-ого, наг-ого* вместо *свят-á-го, наг-á-го*. Вероятно, ударение в новых формах этих прилагательных варьировалось: *свят-огó* и *свят-óго*, по крайней мере, на это указывают фамилии *Суховó, Благовó, Дурновó* (ibid. с. 142). Акцентировка *свят-óго* могла появиться под влиянием старых форм членного типа *свят-á-го*, которые могли получать (или всегда имели?) второстепенное ударение на конечном компоненте -гò (ibid. с. 179–180): *свят-á-гò*, что сближало их с новыми формами *свят-огó*. Получить ударение на первом гласном флексии прилагательные муж.-сред. рода могли и самостоятельно, если допустить развитие флексии ДП -ому из членного окончания -у-јему: *жив-у-јему > жив-у-ому > жив-óму > жив-óму*. Вслед за ДП получает ударение начальный гласный флексии РП: -óго. В позднерусский период отмечается также дефинализация ударения – передвижка на предконечный слог, коснувшаяся и прилагательных (ibid. с. 182–188). Что касается парадигмы жен. рода, то здесь перетяжка ударения с конечного гласного местоименной флексии осуществилась раньше, по крайней мере в ДП: -оји > -óј (после падения еров), поэтому усвоение местоименных флексий прилагательными шло быстрее. Может быть, именно женская парадигма повлияла на перенос ударения в парадигме муж.-сред. рода на гласный -ó-.

Не случайно основная масса примеров с местоименными флексиями прилагательных приходится на XIII век, когда фонологизация твердости-мягкости согласных в результате падения редуцированных стала основным двигателем в развитии склонения. Местоименные флексии с унифицированным начальным -о-/-е- в косвенных падежах ед. числа оказались оптимальными в новой системе отношений основы и флексии. В это же время проходили и акцентные перестройки.

ЛИТЕРАТУРА

- Вайан, А. *Руководство по старославянскому языку*. Москва, 1952.
- Гиппиус, А. А. Морфологические, лексические и синтаксические факторы в склонении древнерусских членных прилагательных. В кн.: *Исследования по славянскому историческому языкознанию* [памяти профессора Г. А. Хабургаева]. Москва, 1993.
- Горшкова, К. В., Хабургаев, Г. А. *Историческая грамматика русского языка*. Москва, 1981.
- Грищенко, А. П. Прикметник. В кн.: *Історія української мови*. Морфологія. Київ, 1978, с. 163–215.
- Зализняк, А. А. *От праславянской акцентуации к русской*. Москва, 1985.
- Зализняк, А. А. *Древненовгородский диалект*. Второе изд. [переработанное с учетом материала находок 1995–2003 гг.]. Москва, 2004.

- Иорданиди, С. И., Крысько, В. Б. *Множественное число именного склонения: Историческая грамматика древнерусского языка*. Т. I. Москва, 2000.
- Крысько, В. Б. (1994а.) Заметки о древненовгородском диалекте. (II. Varia). В кн.: *Вопросы языкознания*, № 6, 1994.
- Крысько, В. Б. Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне. В кн.: *Вопросы языкознания*, № 3, 1998.
- Крысько, В. Б. Комментарий к «Лекциям». В кн.: *А. И. Соболевский. Труды по истории русского языка*. Т. I. Очерки из истории русского языка. Лекции по истории русского языка. Москва, 2004.
- Мурьянов, М. Ф. К истории адъективной флексии *-ого*. В кн.: *Вопросы языкознания*. № 5, 1980, с. 106–110.
- Толкачев, А. И. Об образовании некоторых падежных форм прилагательных в славянских языках (родительный, дательный и местный падежи единственного числа мужского и среднего рода). В кн.: *Славянское языкознание: Сборник статей*. Москва, 1959, с. 72–85.
- Толкачев, А. И. Об изменении *-ого > -ово* в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода членных прилагательных и местоимений русского языка. В кн.: *Исследования и материалы по истории русского языка*. Москва, 1960, с. 235–267.
- Успенский, Б. А. Одна архаическая система церковнославянского произношения (литургическое произношение старообрядцев-беспоповцев). В кн.: *Избранные труды*. Общее и славянское языкознание. Т. III. Москва, 1997, с. 289–319.

Kopsavilkums

Īpašību vārdu saliktās (noteiktās) fleksijas vienskaitlī saglabājās senkrievu valodā līdz 13. gadsimtam. Tikai daļiņa formā vīriešu un nekatrās dzimtes paradīgmā fleksija *-omu* (no *-ijemu* patskaņu kontrakcijas rezultātā) jau 11. gadsimtā sakritusi ar vietniekvārdu fleksiju. Galvenais cēlonis, kas kavēja vietniekvārdu ietekmi īpašības vārdu deklinācijā, bija atšķirība fleksiju akcentā. Ģenitīva formā jauno fleksiju *-ogo* vispirms ieguva īpašības vārdi ar neuzsvērtu galotni. Akcenta pārvietošana analogijas procesa rezultātā atļāva iegūt jaunais fleksijas arī citās īpašības vārdu formās.

Atslēgvārdi: īpašības vārdi, vietniekvārdi, ģenitīvs, vienskaitlis.

Summary

*The Old Russian definite forms of adjectives remained in singular declension till the 13th century. In masculine and neuter paradigm only the contracted forms of dative had coincided with pronominal forms yet in the 11th century. The main cause that did not allow pronouns to influence on adjectives was difference in accent of endings. What about genitive the adjectives with unaccented flexion had adopted new pronominal ending *-ogo* the first. Other adjectives could receive this ending after the accent had been replaced by analogy.*

Keywords: adjectives, pronouns, genitive case, singular.

Footnotes

¹ Сокращения названий источников см. в (Иорданиди, Крысько 2000, с. 278–286).

Еще два примера из рукописей XI в.: все злыбство обнаживь древле прадѣда *обнажьшььго* Мин ок. 1095, 169а–б; отъ лица *мрътьвьго* Изб 1073, 119б–в, которые можно было бы связать с местоименной флексией *-ого/-его*, скорее являются описками (буквенная аттракция; впрочем, и в случае *вьторого* можно подозревать аттракцию). Причем второй пример вызывает сомнения еще и потому, что в этой части рукописи используется двуровневая орфография, и ожидалось бы написание *мрътьвьго*. Ср. еще: *сѣвкоупльшььгоса* съ, дщерью юго КН 1285–1291, 474. Однако теми же причинами не объяснить пример: Ты *очьго* неразлжчно въ чревѣ. бомжьно поживьша. бе-съмене зачатъ <Σὺ τὸν τοῦ Πατρὸς ἰχθῆριστον ἐν μήτρᾳ θεανδρικήσ πολιτευσάμενον ἄσπῶρος συνέλαβεσ> Ил XI/XII, 67 об.–68. Аттракция здесь возможна была бы в случае полного написания слова.

Что же касается введенного в научный оборот в 1899 г. А. Розенфельдом примера *златооустого* Изб 1073, 123, 124 об., то А. И. Толкачев (1959, с. 80) давно указал на ошибку. В рукописи на этих листах представлены варианты: *златооустаго*, *златооустааго* 123а, 124в. Ошибка А. Розенфельда, попавшая в первое издание пособия по истории русского языка К. В. Горшковой и Г. А. Хабургаева (1981, с. 222), была устранена во втором издании.

² Ср. в такой же предикативной позиции второго ВП в позднем списке «Притчи о человеческой душе и теле» Кирилла Туровского: посади тебе здѣ слѣпа мене же *хромого* ПЕ XV₁, 235.

- ³ М. Ф. Мурьянов привел только флексию, а не форму, которую мы обнаружили при работе с рукописью. Утверждение М. Ф. Мурьянова, будто «в русских литургических рукописях XI–XII вв. обычны написания адъективной флексии *-ааго, -аго, -ого*», в отношении последней флексии неверно.
- ⁴ В обоих случаях И. В. Ягич расценил формы как опisku.
- ⁵ Фрикативный [γ] был, вероятно, нормой книжного произношения (*Успенский* с. 299–300). Мнение М. Ф. Мурьянова, что написание *-аа* доказывает акающее произношение, несерьезно.
- ⁶ А. И. Толкачеву (с. 262–265) еще не были известны примеры с флексией *-ога* в древнерусской письменности.
- ⁷ Ср.: *ворога своево* ЛИ ок. 1425, 282 об. (1260).
- ⁸ Обилие примеров в КН заставляет видеть здесь следы сербского протографа.
- ⁹ Соединительный морф в членных формах получает по А. А. Зализняку (1985, с. 142) маркировку ↓Re, т. е. ударение переходит на последний гласный основы в парадигме *b*.

Рефлексы краткого слогового ие. *ǰ в германских, балтийских и славянских языках

Īsā zilbiskā līdzskaņa ide. *ǰ refleksi ģermāņu, baltu un slāvu valodās

Reflexe der ide. Silbenbildenden *ǰ im Germanischen, Baltischen und Slawischen

Силвия Пavidис

Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte,
Visvalža 4a, Rīga, LV–1050 silvija.pavidis@lanet.lv

Настоящая статья посвящена проблеме выявления адекватных рефлексов кратких индоевропейских (далее в тексте ие.) *ǰ слогообразующих в германских, балтийских и славянских языках, считающихся ареальной германо–балто–славянской изоглоссой, установлению природы этих фонем, а также выявлению возможной связи между определенными ступенями аблаута и рефlekсами ие. *ǰ. Основы теории ие. слогообразующих были заложены младограмматиками в конце XIX века, и сегодня необходимо пересмотреть некоторые ее постулаты с позиций современного языкознания.

Ключевые слова: индоевропейские долгие и краткие слогообразующие *ǰ; рефlekсы кратких слогообразующих ǰ; германо - балто- славянская ареальная изоглосса, ступени аблаута.

Без знания механизмов фонетических изменений и без реконструкции определенных подсистем фонем, которые не могут быть произвольными, обойтись нельзя, хотя исследователь и поставлен в жесткие условия, ибо главная его задача – объяснение происхождения языковых явлений – вынужденно решается *post factum*, потому что отсутствует возможность непосредственной эмпирической проверки результатов реконструкции (ср.: *Чекман* 1980, с. 25; *Серебрянников* 1974, с. 63; *Клычков* 1989). Нередко объектом исследования становятся архетипы звуков, которые уже исчезли или значительно изменились, хотя считается, что реконструировать можно то, что сохранилось, но не то, что исчезло (*Климов* 1989, с. 11; *Макаев* 1970, с. 136–141). В таком случае об особенностях архетипных звуков можно судить по их рефlekсам (*Серебрянников* 1974, с. 319).

Судьба индоевропейских слогообразующих может быть наглядной иллюстрацией изложенного выше, так как она непосредственно связана с системной реконструкцией, с выявлением адекватных рефlekсов кратких и долгих слогообразующих ие. *ǰ на основе дифференциальных признаков, корреляций и оппозиций, с установлением места этих рефlekсов в системе языка и в этой связи с причастностью их к другим явлениям и процессам. Выбор слогообразующих для наших исследований был обусловлен также тем, что при анализе лексем, возводимых к ие. *ǰ-*t*- ‘гнуть, крутить, вертеть’, обнаружилась интересная закономерность, которая наглядно проявляется в

существовании разных типов организации лексем. Так, например, наряду с лит. *risti* ‘катить’, в котором начальное **ɹ* отпало по закону Лидена (ие. **ɹ̥-t-*), существуют еще два типа лексем с *ir* в корне, различающихся лишь интонациями: в одном случае наблюдается акут, а в другом – циркумфлекс. Поскольку базовый корень иде. **ɹ̥-t-* ‘гнуть, крутить, вертеть’ кончается на сонант, закономерен вопрос, не играет ли какую-то роль слогообразующий сонорный. Поэтому и возникла необходимость в обращении к теории индоевропейских слогообразующих и их рефлексов в германских, славянских и балтийских языках. Это тем более важно для нашего исследования, что “*строгое следование системе фонетических соответствий является неперенным условием любого серьезного этимологического исследования, выходящего за рамки одного языка, а без этого условия всякое этимологизирование превратится в беспочвенное жонглирование словами, лишенное какой бы то ни было научной доказательности*” (Откупщиков 1967, с. 36; ср. Pavidis 2005). Такое исследование сегодня тем более необходимо, что проблемы реконструкции различных систем языка на различных этапах его развития приобретают первостепенное значение в современном языкознании еще по той причине, что реконструкции, сделанные в XIX веке и в первые десятилетия XX века, уже не удовлетворяют современное языкознание (Савченко 1974, с. 135; Климов 1969, с. 5).

Основы теории индоевропейских слогообразующих были заложены еще в 1876 году, когда Г. Остхоф и К. Бругман высказали мысль о существовании в индоевропейском слоговых плавных и носовых. Среди пионеров, занимавшихся этой проблемой, следует также назвать Ф. де Соссюра и Ф. Ф. Фортунатова, которые в своих исследованиях описали рефлексы слогообразующих в разных языках. “С тех пор эти звуки прочно вошли в фонологическую систему индоевропейского языка” (Семереньи 1980, с. 52). Было установлено, что существует два ряда слогообразующих: краткие и долгие **ɹ̥*. С этим фактом согласились современники, а потом и следующие поколения лингвистов. Однако впоследствии признание этих двух рядов слогообразующих фактически никак не проявилось. Напротив, многие исследователи не делали никаких различий между долгими и краткими слогообразующими, считая, что они рано совпали в одной фонеме или различались так незначительно, что практически речь могла идти об одной единой фонеме (ср.: Прокош 1954, с. 59; Семереньи 1980, с. 57–62 и др.). Адекватные рефлексы слогообразующих, наряду с детерминативами, играют важную роль в фonomорфологических построениях, так как четкое знание рефлексов как кратких, так и долгих слогообразующих в германских, балтийских и славянских языках необходимо для правильного моделирования фonomорфологических вариантов корня.¹ Надо отметить и такой факт, что в более чем столетней истории изучения слогообразующих сонорных фактически никто еще не проводил целенаправленного системного исследования этого большого комплекса вопросов на широком индоевропейском фоне и на материале конкретных языков. Этой тематике, к сожалению, в последние годы не уделяли внимание и зарубежные лингвисты, ср. Р. Шмит-Брант (1998) и М. Мейер-Брюгге (2003).

А. Мейе (1938, с. 144) совершенно справедливо считал второстепенным вопрос об артикуляции слогообразующих, полагая, что намного важнее установить, “*как отразились они в разных языках и каково их место в строе индоевропейских языков*”. Полностью соглашаясь с мнением А. Мейе, приходится, однако, особенно подчеркнуть, что именно отражение этих звуков, т.е. их рефлексы, в разных индоевропейских языках не отличаются единообразной интерпретацией. Напротив, картина возникает весьма пестрая, и по ней совершенно невозможно представить себе четкие и однозначные рефлексы индоевропейских слогообразующих. Не имея возможности остановиться на отражении рефлексов кратких слогообразующих в различных индоевропейских

языках, обратимся к рефлексам слогообразующих, которые считаются признанными для германских, славянских и балтийских языков, и обобщим их в таблице (без учета интонации):

| | герм. | балт. | слав. |
|----------------------------|----------|-------|-------------|
| Бругман | ur, gu | Ir | гь, гь |
| Соссюр | aur | ir/il | |
| Семереньи | ur | | |
| Савченко | aigr/aur | ir/ur | рь,ьр/рь,ьр |
| Гамкрелидзе/ Иванов | ur | ir/ur | ir/ur |

Рефлексы слогообразующих (сонорных) воспринимаются многими исследователями как ареальная изоглосса, объединяющая германские, балтийские и славянские языки (Иванов 1979, с. 28; Савченко 1974, с. 209 и др.). *“По характеру вокализации слоговых фонем и образования конкретных фонем последовательностей в исторических индоевропейских диалектах можно выделить определенные диалектные ареалы со схожими фонетическими результатами вокализации кратких сонантов, а отчасти и долгих. По этому признаку можно выделить четко ограниченные ... балто-славяно-германский ... ареалы, со специфически характерными для каждого из этих ареалов фонетическими рефлексамии слоговых, что дает основание для предположения некоторой исторической диалектной общности развития этих ареалов в определенный период формирования индоевропейских диалектов”* (Гамкрелидзе; Иванов 1984, с. 415–416).

Сегодня все еще нет единого мнения по поводу природы так называемых слоговых сонантов. Открытым остается также вопрос об акустической и физиологической характеристике слогообразующих сонантов, а также их статусе. А. Мейе (1938, с. 145) полагал, что плавные наряду с другими сонантами в функции слогообразующих являются гласными. Т. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов (1984, с. 199) считают их слоговыми аллофонами индоевропейских сонантических фонем, которые выступают в виде последовательностей гласных со смежным сонорным. Анализируя рефлексии кратких слогообразующих в разных индоевропейских языках, приходится согласиться с мнением А.Н. Савченко относительно гласных, разившихся перед бывшим слогообразующим: *“очевидно, гласные в этих сочетаниях появились в истории отдельных языков, а к общему индоевропейскому восходит только *ǰ, которое было слогообразующим”* (Савченко 1974, с. 77).

Хотя определение рефлексии слогообразующих сопряжено в германских языках с такими же трудностями, как и в других ие. языках (ср. Гухман 1962, с. 270), основным рефлексом краткого слогообразующего в германских языках традиционно считается последовательность *ur*, которая в готском языке в силу готского преломления имеет вид *aur* (Жирмунский 1976, с. 259; Прокош 1954, с. 36; Семереньи 1960, с. 60 и др.). Ф.Черчиньяни (*Cercignani* 1986, р. 127) подчеркивает, что детальная реконструкция так называемого готского преломления связана с особенными трудностями. В. Леман, отмечая, что рефлексии сонантов представлены в грамматиках германских языков неадекватно и несистемно, предполагает, что в раннегерманском индоевропейские слогообразующие реализовались еще не как сочетание *u* + сонорный, а как гласный вариант слогообразующего сонорного (*Lehmann* 1955, р. 355, р. 360). Очень существенным мы считаем также замечание В. Лемана о том, что *“нашу информацию о статусе протогерманских сонантов мы должны извлекать в значительной мере из фонологического развития, которое в германских диалектах кажется отклоняющимся от нормального типа”* (*Lehmann* 1955, р. 359). Процедура

экстраполяцией помогает осуществить этот весьма полезный и оправданный подход (Павидис 1992, с. 11). Некоторые исследователи (ср. Meid 1964, S. 103) необоснованно считают, что значение германских языков для реконструкции черт ие. языка-основы ограничено, так как они не являются ключевыми языками как, например, хеттский язык. Сегодня уже доказано, что германские языки сохранили в своих структурах много архаичных черт, причем наиболее консервативные признаки германского диалектного ареала сохраняет северогерманский, в большей мере обнаруживающий тесную близость фонологической системы с ингвеонскими диалектами (Markey 1986, p. 405).

Исследование большого лексического материала укрепило автора настоящей статьи в мнении, что рефлексы краткого слогаобразующего в германских языках в виде последовательностей *ur* и *ir* отражают объективные процессы, имевшие место в фонетической субстанции языка (ср. Павидис 1992). Реконструируя два гласных, а не один, мы стараемся учитывать закономерности диахронических изменений, потому что одним из важнейших условий реалистичности реконструкции считается, если реконструированные схемы “будут напоминать естественные системы гласных и согласных, которые мы можем непосредственно наблюдать в живых языках” (ср. Серебренников 1982, с. 9).

Относительно рефлексов кратких слогаобразующих в балтийских языках А.Мейе считал, что ни один из засвидетельствованных языков не сохранил разнообразие различных форм сонантов, и лишь архаичность литовского языка обнаруживается именно в сохранении системы сонантов, в которой он один из всех живых индоевропейских языков еще и теперь дает приблизительное представление, а двоякое балтийское отражение рефлекса слогаобразующего, представленного в виде *ir/ur*, считает самым замечательным (Мейе 1938, с. 148–149). Возможно, А. Мейе несколько преувеличивает значение и архаичность литовского языка в этом вопросе, однако следует признать, что данные литовского языка и других балтийских языков нельзя оставлять без внимания. Обобщая мнение балтистов относительно рефлексов слогаобразующих, к сожалению, следует признать, что многие исследователи по-разному трактуют как сами рефлексы, так и причины появления двоякого отражения этих рефлексов в балтийских языках. Отмечая пестроту в отражении рефлексов слогаобразующих в разных индоевропейских языках, А. Мейе (1938, с. 145) считает, что гласная, развившаяся по соседству с *r*, *l*, *m*, *n* в германском, балтийском и славянском, принадлежит к наиболее закрытому типу *i* или *u*; а эти значительные колебания в рефлексах слогаобразующих по языкам он объяснял тем, что языки испытывали затруднения при замене древних плавных (характера гласных), бывших фонемами нестойкими и в общем не удержавшихся. Я. Эндзелин (Endzelīns 1974, 184.–185. lpp.), и сегодня считающийся непререкаемым авторитетом в балтистике, возводит большинство случаев *ur* к звукоподражательным формам, мотивируя это тем, что в данных формах никакого *u* никогда не было, но уже искони имелось сочетание *ir*. Полемизируя с К. Бругманом, Я. Эндзелин пришел к выводу, что вообще невозможно возводить *ir* и *ur* к одному и тому же звуку индоевропейского языка. Я. Эндзелин не исключает, однако, что *ur* могло появиться в результате чередования по аблауту, и в этом вопросе примыкает к мнению Я. Микколы, “которое, правда, не может быть доказано, но не может также быть отвергнуто, и появление *ur* и *m.n.* объясняет хорошо” (Endzelīns 1974, 184.–185. lpp.).

Несколько иного взгляда придерживался Хр. Станг. Он отмечал, в частности, что в большинстве случаев в унаследованных словах балтийские сочетания *ir*, *il*, *im*, *in*, *ur*, *ul*, *um*, *un* восходят к ие. слогаобразующим сонорным (Stang 1966, S. 77). Причины

этой вариативности, отражающейся в двойком рефлексе слогообразующих, по мнению Хр. Станга, спорны, однако сочетания *ur, ul, um, un* в балтийских языках встречаются намного реже и не могут считаться нулевой ступенью, так как в отношениях аблаута участвуют исключительно рефлексы *ir, il, im, in* (Stang 1966, S. 77). Кроме того, Хр. Станг полагает, что образования с *u* характеризуют прежде всего экспрессивную лексику (Stang, 1966, S. 79–80). Мы полностью поддерживаем взгляд Я.Эндзелина и Хр.Станга на рефлекс *ur* в балтийских языках, так как анализ лексем, возводимых к ФМВ ие. **uř-t-*, показал, что лексем с *ur* нет: из 34 лексем, собранных в словаре К. Миленбаха и Я. Эндзелина, большинство является или звукоподражательными, или поздними заимствованиями (Müllenbach 1929–1932).

Б. Чекман выдвинул гипотезу о том, что двойкая вокализация рефлексов кратких слогообразующих в балтийских языках может быть обусловлена слиянием различных индоевропейских диалектов, формировавших балто-славянское языковое единство (цит. по: Zinkevičius 1980, с. 83).² Я.Эндзелин также не исключал взаимодействия субстрата и адстрата в ходе фонетических изменений (Endzelīns 1974, 81. lpp.), однако решительно выступал против отнесения балтийских и славянских *ir, il, im, in* к эпохе индоевропейского языка, на чем настаивали, в частности, А.Мейе, В.Вондрак (Endzelīns 1974, 174.–175. lpp.). Возникновение *ir* в качестве диалектного славяно-балтийского явления Я.Эндзелин считал возможным отнести ко времени распада единства индоевропейских языков или же после распада этого единства (Endzelīns 1974, 190. lpp.). В этой связи интересно также мнение А.Н.Савченко (1974, с. 209) о второй эпохе сближения балто-славянских языков.

С проблемой рефлексов кратких слогообразующих в балтийских языках связана также теория балтийских акцентов, у истоков которой стояли Ф. де Соссюр и Ф. Ф. Фортунатов. Существенной особенностью фортунаатовской теории сонантов С. Д. Кацнельсон называет ее органическую связь с акцентологией. Ф. Ф. Фортунатов полагал, что количественные различия как в гласных, так и в сонантах, в индоевропейском языковом состоянии были неразрывно связаны с интонационными различиями: он открыл связь между литовским циркумфлексом и краткостью сонанта, с одной стороны, и литовского акута с долготой сонанта на ступени редукции, с другой стороны (Кацнельсон 1955, с. 50–51; Фортунатов 1922, с. 148). В качестве гипотезы мы хотели бы отметить, что анализ материала указывает на возможную связь интонации циркумфлекса с рефлексом краткого слогообразующего, который, на наш взгляд, в балтийских языках всегда имеет последовательность *ir/ur*, и, таким образом, в трактовке этого вопроса мы отходим от традиционной схемы Фортунатова-Соссюра, согласно которой часть случаев *ir/ur* они относили к рефлексам долгого слогообразующего на том основании, что эти формы имели интонацию акута.

Итак, мы опять подошли к вопросу о соотношении рефлексов кратких и длинных слогообразующих. Проведенный анализ лексем, возводимых к ие. **u ř-t-* ‘гнуть, крутить. вертеть’, однозначно показал, что краткие и длинные слогообразующие различались по своей долготе, т.е. обе фонемы составляли коррелятивную пару и на этом основании включались в оппозицию.

Исходя из теоретических постулатов фонологии, согласно которым фонемы служат для различения слов и форм, следует вывод о том, что всякое фонологическое смешение неминуемо приведет к недоразумениям, мешающим нормальному функционированию языка (Мартине 1960, с. 77). Поэтому каждая фонема для сохранения своей идентичности имеет присущую только ей артикуляционную и акустическую природу, выражающуюся в некой совокупности различительных признаков. Как носитель этих различительных признаков фонема включается

в фонологическую систему и занимает место в оппозиции, являющейся минимальной структурной единицей (“ядром”) фонологической системы, основным способом взаимосвязи отдельных фонем в целостной системе в результате действия интегральных сил сходства и различия, а следы прежнего полезного противопоставления сохраняются даже при полном слиянии двух фонем (Журавлев 1986, с. 70, с. 152). Конечно, в некоторых случаях возможна нейтрализация оппозиции, которая может постепенно привести к исчезновению этой оппозиции, и прежние фонемы, члены нейтральной оппозиции, сольются, конвергируют (Журавлев 1986, с. 147). Чтобы такая нейтрализация могла произойти, должна исчерпать себя функциональная значимость фонологического противопоставления, т.е. сойти на нет. По мнению А. Мартине, оценить функциональную нагрузку противопоставления можно только в том случае, если исследуются языковые состояния, для которых существуют более или менее полные списки слов или, по крайней мере, большое количество текстов. Это обстоятельство делает практически невозможной проверку функционального постулата в случае доисторических изменений. Поэтому на данном этапе следует рассматривать функциональную нагрузку как один из внутренних факторов фонологической эволюции и стремиться выявить ее роль во всех случаях, когда это возможно (Мартине 1960, с. 82, с. 83). В ходе анализа коррелирующих по долготе-краткости слогообразующих возникает вопрос: могли ли совпасть сами слогообразующие, т.е. утратить оппозицию по долготе - краткости и стать одной фонемой? Всякая система тяготеет к симметрии, а там, где эта симметрия в силу каких-то причин бывает нарушена, эта система будет стремиться к равновесию путем (вос)создания своего отсутствующего члена. Б.А. Серебренников (1974, с. 45) называет это принципом заполнения пустых клеток. В этой связи возникает закономерный вопрос: в силу каких причин должна была установиться ассиметричность в системе индоевропейских слогообразующих? Опираясь на выводы В. Хорна (Horn 1923, с. 36), которые он сделал относительно зависимости форм слов от их функций, мы можем предположить, что сходные выводы могут быть сделаны и относительно зависимости фонем от их функций. Следовательно, чтобы предположить слияние двух фонем (*ʃ̥ и *ʃ̄), надо предположить, что какая-то из них лишилась своей функции и вследствие этого ослабла или исчезла. Но это противоречит принципу сохранения полезного противопоставления, на котором держится эта коррелятивная пара. Кроме того, как показывают наблюдения, рефлексы *ʃ̥ и *ʃ̄ значительно расходятся, т.е. не совпадают. А это косвенно подтверждается и тем фактом, что многие исследователи уже отметили двойственность рефлексов слогообразующих, которая отражается в разной последовательности звуков, считающихся рефлексам слогообразующих. Эта последовательность бывает чаще в виде VR, где V – гласный, а R – бывший слогообразующий, или RV (Ср.: Фортунатов 1956; Савченко 1974; Семереньи 1980 и мн. др.).

Конвергенция *ʃ̥ и *ʃ̄ на индоевропейской почве совершенно исключается, потому что факт существования кратких и долгих слогообразующих в разных временных срезах уже признан (ср. Kuryłowic, 1956). Ср. также проблему двух ступеней – нулевой и редукции – в германских языках (Гухман 1962). “Лишь тщательный учет всех трансформаций той или иной оппозиции может быть залогом реальной реконструкции ее истории”, – подытоживает Журавлев (1986, с. 150). Рефлексы кратких к долгих слогообразующих не могут совпасть, ведь эти рефлексы сами продолжают артикуляционную и акустическую природу слогообразующих, покоящуюся на их различительных признаках.

Принимая во внимание опыт разработки теории индоевропейских слогообразующих и базируясь на его достижениях, а также на основе анализа лексем,

входящих в микрогнездо **uř-t-* ‘гнуть, крутить, вертеть’, мы пришли к заключению, что в германских, балтийских и славянских языках адекватным рефлексом кратких слогаобразующих является последовательность *ur* и *ir* без очевидной связи с интонацией.

Рассматривая проблему индоевропейского аблаута, Г. Хирт касался также и слогаобразующих. Разные гласные, представленные в качестве рефлексов слогаобразующих в различных индоевропейских языках, не вызывали у Г. Хирта особого удивления, и он не пытался дать этому явлению какое-то объяснение. Значительно важнее была для Г. Хирта проблема соотношения ступени редукции и нулевой ступени (1921, с. 12). Хотя В.А. Дыбо (1987, с. 14) считает, что проблема индоевропейского аблаута остается нерешенной и сегодня, а вопрос о соотношения нулевой ступени и ступени редукции и вовсе зачислен в неразрешимые (по крайней мере для двусложных корней), мы постулируем прямую связь рефлексов кратких слогаобразующих со ступенью редукции (ср.: Günter 1916; Hirt 1921; Kuryłowic 1956; Венцкуте 1971; Флусова 1972). Впрочем, эпентетический характер гласного, развившегося перед бывшим слогаобразующим, строго говоря, не разрешает связывать эти рефлексы с аблаутом, на что по отношению к балтийским языкам указывал Я. Эндзелин. Но такова традиция, и во всех индоевропейских языках *i* и *u* отождествляют всегда с нулевой ступенью или ступенью редукции, считая, что обе эти ступени являются идентичными. С этим мы не можем согласиться. Наши рассуждения относительно нулевой ступени связаны с рефлексам долгих слогаобразующих, но это отдельная проблема, требующая специального рассмотрения.

ЛИТЕРАТУРА

- Венцкуте, Р. И. *Литовский аблаут: современное состояние и индоевропейская модель*: Дисс. ... канд. филол. наук. Москва, 1971.
- Гамкрелидзе Т., Иванов Вяч. Вс. *Индоевропейский язык и индоевропейцы*. В 2-х томах. Тбилиси, 1984.
- Гухман М. М. Аблаут в германских языках. В кн.: *Сравнительная грамматика германских языков*. Т. 2 Москва, 1962, с. 221 – 289.
- Дыбо, В. А. *Славянская акцентология*: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. Москва, 1981.
- Жирмунский, В. М. *Общее и германское языкознание*. Ленинград, 1976.
- Журавлев, В. К. 1986. *Диахроническая фонология*. Москва, 1986.
- Иванов, Вяч. Вс. Лингвистическая проблематика этногенеза славян в свете отношений славянского к балтийским и другим индоевропейским языкам. В кн.: *Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы*: Итоги и перспективы исследований. Москва, 1979, с. 27–34.
- Качнельсон, С. Д. Теория сонантов Ф. Ф. Фортунатова и ее значение в свете современных данных. В кн.: *Вопросы языкознания*, 6. Москва, 1955, с. 47–61.
- Климов, Г. А. О праязыковой реальности. В кн.: *Актуальные вопросы современного языкознания*. Москва, 1989.
- Клычков, Г. С. Теория верификации в сравнительно-историческом языкознании. В кн.: *Теория и методология языкознания: Методы исследования языка*. Москва, 1989.
- Курилович, Е. О методах внутренней реконструкции. В кн.: *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 4. Москва, 1965, с. 400–433.
- Макаев, Э. А. *Структура слова в индоевропейских и германских языках*. Москва, 1970.
- Мартине, А. *Принцип экономии в фонетических изменениях*: Проблемы диахронической фонологии. Пер. с фр. А. А. Зализняка. Москва, 1960.
- Мейе, А. *Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков*. Пер. с фр. Д. Кудрявцева; под ред. и с прим. Р. Шор. Москва, 1938.
- Откупщиков Ю.В. О принципах отбора лексических изоглосс. В кн.: *Baltistica*, X (I), 1967, с. 115–124.
- Павидис, С. *Этимологическое микрогнездо *uř-t- “гнуть, крутить, вертеть” в германских и балтийских языках* (к вопросу германо-балтийских языковых отношений): Дисс. ... канд. филол. наук. Москва, 1992.

- Павидис, С. Теория индоевропейского корня и формирование этимологического макрогнезда при помощи моделирования фономорфологических вариантов корня в германских языках. В кн.: *Baltic Academy of Information. Scientific Works. Linguistics*. V. Surkov, I. Dimante (ed.). Рига, 2004, с. 34–46.
- Прокош, Е. *Сравнительная грамматика германских языков*. Москва, 1954.
- Савченко, А. Н. *Сравнительная грамматика индоевропейских языков*. Москва, 1974.
- Семереньи, О. *Введение в сравнительно-историческое языкознание*. Москва, 1980.
- Серебренников, Б.А. *Вероятностные обоснования в компаративистике*. Москва, 1974.
- Серебренников, Б.А. Проблема достаточного основания в гипотезах, касающихся генетического родства языков. В кн.: *Теоретические основы классификации языков: Проблемы родства*. Москва, 1982, с. 6–62.
- Чекман, В. Н. *Исследования по исторической фонетике праславянского языка: Типология и реконструкция*. Минск, 1979.
- Флусова, Г. К. *Развитие значений группы индоевропейских слов, восходящих к одному корневому архетипу*: Дисс. ... канд. филол. наук. Москва, 1972.
- Фортуатов, Ф.Ф. *Избранные труды*. Т. 1. Москва, 1956.
- Cercignani, F. The Development of the Gothic vocalic system. In: *German dialects: Amsterdamer studies in the theory and history of linguistics science*. Series IV. Current issues in linguistic theory. B. Brogyanyi and Th. Krömmelbein (ed.), vol. 38, Amsterdam, 1986, p. 121–151.
- Endzelīns, J. *Darbu izlase*. 4. sēj. Rīga, 1974.
- Günther, H. *Indogermanische Ablautsprobleme*. Strassburg, 1916.
- Hirt, H. *Indgermanische Grammatik: Der indogermanische Vokalismus*. Heidelberg, 1921.
- Horn, W. *Sprachkörper und Sprachfunktion*. 2. Aufl. Leipzig, 1923.
- Kuryłowicz, J. L'apophonie en indo-européen. In: *Prace językoznawce*, т. 9. Wrocław, 1956.
- Lehmann, W. P. The Proto-Indo-European resonants in Germanic. In: *Language*, vol. 31. 1955, p. 355–366.
- Markey, Th. L. Change typologies: Questions and answers in Germanic. In: *German dialects (Amsterdamer studies in the theory and history of linguistics science)*. Series IV. Current issues in linguistic theory. B. Brogyanyi and Th. Krommelbein (ed.), vol. 38, Amsterdam, 1986, p. 403–425.
- Meid, W. Bemerkungen zum indogermanischen Wortschatz des Germanischen. In: *Das Germanische und die Rekonstruktion der indogermanischen Sprache: Akten des Freiburger Kolloquiums der Indogermanischen Gesellschaft*. J. Untermann und B. Brogyanyi (Hrg.). Amsterdam, 1984, S. 91–112.
- Meier-Brügge M. *Indo-European Linguistics*. With contributions by M. Fritz and M. Mayrhofer. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2003.
- Mülenbach, K. *Lettisch-deutsches Wörterbuch*: in 4 Bdn. Red., ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. Bd. 4. Riga, 1923–1932.
- Schmitt-Brandt R. *Einführung in die Indogermanistik*. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag, 1998.
- Stang, Chr. S. *Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen*. Oslo, 1966.
- Zinkevičius, Z. *Lietuvių kalbos istorija: Lietuvių kalbos kilme*. Vilnius, 1984.

Kopsavilkums

Raksts veltīts ide. īsā zilbiskā *ǰ refleksiem ģermāņu, baltu un slāvu valodās, kas tiek uzskatīti par areālo izoglosu. Tiek pētīta šo fonēmu izcelsme, kā arī to refleksu saistība ar noteiktām skaņu mijas pakāpēm. Indoeiropiešu zilbisko skaņu teorijas pamati, kurus izveidoja jaungramatiķi 19. gadsimtā, šodien nepieciešams reinterpretēt, balstoties uz modernās lingvistikas sasniegumiem.

Atslēgvārdi: ide. īsais un garais zilbiskais *ǰ, īsā zilbiskā *ǰ refleksi, ģermāņu, baltu un slāvu areālā izoglosa, skaņu mijas pakāpes

Zusammenfassung

*In dem vorliegenden Beitrag werden Reflexe der kurzen silbenbildenden Sonanten ide. *ǰ im Germanischen, Baltischen und Slawischen behandelt, die eine areale Isoglosse darstellen. Es wird der Versuch unternommen, die Herkunft der ide. Silbenbildenden zu erschliessen sowie den möglichen Bezug deren Reflexe zu den Stufen des ide. Ablauts herzustellen. Grundlagen der ide. Theorie der Silbenbildenden, die im 19. Jahrhundert durch Junggrammatiker ausgearbeitet wurden, bedürfen einer Reinterpretation aus der Sicht der modernen Linguistik.*

Schlüsselworte: indoeuropäische lange und kurze Silbenbildende ǰ, Reflexe der kurzen Silbenbildenden, germanisch- baltische areale Isoglosse, Ablautstufen.

Footnotes

¹ Ср.: Павидис, С. Теория индоевропейского корня и формирование этимологического макрогнезда при помощи моделирования фономорфологических вариантов корня в германских языках. В кн.: *Научные труды: Лингвистика*. В. Сурков, И. Диманте (ред.). Рига, 2004, с. 34 – 45.

² Однако вопрос о балто-славянском языковом единстве также относится к гипотетическим, и в настоящей статье у нас нет возможности обстоятельно заняться этой теорией.

Слова, которых мы стали стесняться

Vārdi, no kuriem mēs kautrējamies

Words we are Ashamed of

Ирина Диманте

Baltijas Krievu institūts, Lomonosova 4, LV-1019

dimanteirina@inbox.lv

Настоящая статья посвящена проблеме развития русского языка с точки зрения пополнения его словарного запаса. В этой связи речь пойдёт о конкуренции исконно славянских слов с синонимичными заимствованиями. Кроме того, рассматриваются словообразовательные процессы, а также смысловые связи между словами, входящими в одно словообразовательное гнездо. Эти связи могут оставаться нерушимыми, но могут ослабевать и даже утрачиваться. В подобных случаях родственность слов можно выявить лишь путём этимологического анализа. В связи с этим в статье затрагиваются вопросы, касающиеся путей формирования балто-славянской лексики.

Ключевые слова: исконная лексика, синонимичные заимствования, лексическое значение, типологические процессы, балтийские и славянские языки.

Продукты переработки пищи и естественные процессы их выведения из организма – непереносимые атрибуты жизнедеятельности развитого земного существа. Это природное проявление свойств организма, которое наши очень далёкие предки вряд ли осознавали как безобразное и вызывающее стеснение. Анализ связанных с этим наименований, сформировавшихся в доисторический период, даёт возможность приблизиться к постижению процесса формирования примарных и секундарных лексических значений. Кроме того, этот древнейший лексический пласт даёт представление о явлениях и процессах типологического характера, выводя исследователя за рамки одного языка и вынуждая его обращаться к фактам других языковых групп.

Ассоциативные представления о продуктах переработки пищи организмом как о чем-то грязном, нечистом, очевидно, явились причиной возникновения лексемы *нечистоты* – от *нечистота*. *Нечистота* в качестве наименования реально существующей субстанции и в качестве наименования абстрактного понятия, т.е. в переносном значении, обнаруживает себя ещё в старославянском: *подобите ся гробомъ поваяньеномъ | ѡже... плъни суть костии мрътвыхъ | ѡ вьсѢкоя нечистоты* Мт 23, 27 Мар (Зогр) (Ст сл с. 377). *юбодѢанье же ѡ вьсѢка нечистота вѣ вась да не именууеться* Клоц 2а 33 (Евр 5, 2). – Мт 23, 25 Мар; Евх 89а 11 (Ст сл с. 377). По всей видимости, являясь производным от прилагательного *нечистъ*, *-ыи*, существительное *нечистота* “наследует” от него прямое и переносное значения. В качестве подтверждения можно привести примеры из ранних евангелических текстов: *видѢша етерїи отъ оученикъ его | нечистама рукама | сирѢчь не омъвенама | Бдяшита хлѢбы* Мк 7, 2 Зогр Мар (Ст сл с. 378). *Ѣко да избавлень будетъ | отъселѢ в'сего нечиста*

| *въкоушениѢ и дѢѢниѢ* Евх 22 а 21 (Ст сл с. 378). Обнаружение этих однокоренных (антонимически противопоставленных *чистоте*) лексем в самых ранних источниках, их семантическая наполненность и грамматическая завершённость указывают на то, что они сформировались и закрепились в языке ещё в ‘дописьменный’ период. Причём на базе прилагательного, имеющего переносное значение с отрицательной коннотацией, т. е. *нечист(ый)* в результате процесса субстантивации формируются некоторые отвлечённые существительные с общей семой (из области сакрального и нематериального), а именно: *нечисть, нечистый*, тогда как оформившиеся на славянской почве лексемы с корнем *чист-* (без начального *не-*) изначально были с положительной коннотацией (*чистота, чисто, чистоплотный* и др.).

В современных словарных дефинициях существительное *нечистота* приводится, как правило, с несколькими значениями. Так, в “Словаре русского языка” относительно первого значения приводится трактовка ‘*свойство и состояние по знач. прил. нечистый*’, т. е. предполагается отсылка к имени прилагательному. Следующее определение ‘*наличие грязи, мусора где-л.*’ имеет отношение ко второму значению. Третье значение относится к форме pl. tantum – *нечистоты*: ‘*содержимое выгребных ям, отхожих мест*’ (СРЯ т. II, с. 493). Однако на сегодняшний день лексеме *нечистоты* нередко предпочитают заимствованный термин *экскременты*.

В “Словаре русского языка” находим: *экскременты ... – спец. испражнения (кал, моча)*. “[*Ветеринар*] *знакомил меня со своей работой. Она была основана на химическом исследовании экскрементов*”. М. Горький. Ветеринар. [От лат. excrementum – отход, выделение] (СРЯ т. IV, с. 750). Вошедшие в русский язык в качестве терминов *урина, урология* и проч. являются сравнительно поздними заимствованиями: медицинская наука в Европе сформировалась относительно недавно. Оттого однокоренные с *урина* образования в словарях обычно сопровождаются специальными пометами, например: *урина – мед. моча* [лат. *urina*] (СРЯ т. IV, с. 511). С точки зрения этимологии существительное *моча* имеет довольно прозрачную семантику. В словаре М. Фасмера находим прямое указание на связь этой лексемы со словом *мокрый* (Фасмер 1986–1987, т. II, с. 666). Образования с тем же значением и сходной фонетической оболочкой нашли распространение и в других славянских языках, ср. укр. *мокрый*, блр. *мокры*, блг. *мокрър*, чеш. *мокру*, польск. *токру* и т.д. (*там же*, с. 641). Однако древнейшая семантика основы *мок(р)-* полнее раскрывается при обращении к другим родственным, но неславянским языкам. Фасмер указывает на её общность с литовским, приводя в качестве иллюстрации следующее: *takone* ‘лужа’, *taklyne* ‘грязь’, *taknoti, taknoju* ‘идти по грязи’, *ĩmaku, imaketi* ‘входить в болото’ – и даже обнаруживает связь с ирландским *mōin* ‘болото, топь’ (Фасмер там же). Для подкрепления этого положения можно добавить примеры и из современного латышского – *mākonis* ‘туча’ (как предвестница дождя), *mākties* ‘хмуриться, заволакиваться, затягиваться, покрываться тучами’. Первичная невозвратная глагольная форма **mākt* со значениями ‘становиться мокрым, мокнуть, увлажнять’ из латышского исчезла (поскольку была вытеснена омонимичным глаголом *mākt* со значением ‘жать’) (Karulis 1992, sej. I, 563. lpp.). Балтийские лексемы семантически тесно связаны со словом *моча* в значениях ‘дождливая погода’ или ‘болотистое место’, что также зафиксировано в ряде славянских языков. В древнерусском *моча* – это ‘дождливая погода’, в церковнославянском – ‘болото’, в словенском *moča* – ‘ненастье’, а также ‘влага’ (и ‘моча’); в то же время в чешском, словацком, верхнелужицком *moč* и польском *mocz* – это ‘моча’ (Фасмер т. II, с. 666). Все перечисленные примеры являются иллюстрацией формирования древнейших лексических значений на базе общей индоевропейской основы **mak-* с первоначальной семантикой ‘мокрый, мокнуть’ (Karulis sej. I, 563. lpp.). С фонологической точки зрения здесь представлена ступень чередования *a: o* и *k: č* (<

*kj). Относительно русского языка можно заключить следующее: с одной стороны, “соперничество” функциональных омонимов, с другой – усиление предметного компонента в семантике лексемы *моча* привели к тому, что на сегодняшний день в его литературной разновидности закрепился вариант в значении ‘урина’, а не ‘дождливая погода’.

Некоторая трансформация первичных значений обнаруживается и при анализе семантики основы, в рамках которой сформировалась пережившая в неизменном виде многие эпохи лексема *кал*. В “Словаре русского языка” даётся очень краткое, в две строки, почти научное определение, а именно: “*Кал... содержащее кишечника, выделяемое при испражнении*” (СРЯ т. II, с. 20). По сравнению с этим дефиниции, приведённые в исторических словарях, значительно отличаются по объёму, иллюстрируя удивительные превращения, связанные с историей формирования фонологического облика слова. Лексема *кал* встречается в целом ряде славянских языков, однако, в отличие от русского, для нее могут быть присущи и другие значения, что свидетельствует о семантической конденсации, свойственной её базовой праоснове. Ср.: в сербохорватском *кал* – ‘грязь, лужа’; в чешском и словацком – ‘тина, грязь, слякоть, экскременты’; в польском – ‘экскременты, лужа, тина’ (Фасмер т. II, с. 163). Слово *кал*, зафиксированное в письменном виде уже в старославянском языке, бесспорно, славянского происхождения (Ст сл с. 281). Однако относительно его индоевропейской праосновы у учёных нет единого мнения. С одной стороны, указывают на родственные отношения с др.-инд. *kālas* – ‘сине-чёрный’, *kalaṅkam* – ‘пятно, позор’, а также с фонологически сходными образованиями из греческого (со значениями ‘чёрный день’ и ‘коза с пятном’) и из литовского (‘коза со светлым пятном на лбу’ и ‘туман’) (Фасмер т. II, с. 163). С другой стороны, славянское *кал* сравнивают с греческим *ῥῆλος* со значением ‘гуща, грязь, глина’ (Фасмер с. 163). Но в таком случае можно говорить и о родственных отношениях с балтийскими образованиями: литовским *pelke* ‘болото, топь’ (Фасмер, с. 163) и латышским *peļķe* ‘лужа’. Всё перечисленное свидетельствует о синкретичном характере заложенной в лексеме семантики, что допускает возможность осуществления семантической контаминации, реализованной в глубочайшей древности.

Наблюдения и реальный опыт наших предков с течением времени навели на мысль, что экскременты – это не всегда лишнее и ненужное. Однако как удобрения они стали использоваться значительно позднее, вероятнее всего, уже после одомашнивания крупного рогатого скота. Отсюда возможная связь между словами, обозначающими распространённых в хозяйстве животных – коров и быков, с продуктом переработки, наименование которого принято относить в разряд грубого просторечия, а именно – *говно*. На синхронном срезе эта связь прослеживается при сопоставлении дошедших до наших дней балтизмов и славянизмов: *govs* ‘корова’ (латышское) и в современном русском *говядина* ‘мясо крупного рогатого скота’, а также белорусское *гавяда* ‘домашняя скотина’, болгарское *говедо* и чешское *hovado* ‘корова, крупный рогатый скот’ и проч. (Фасмер 1986–1987, т. I, с. 425; Karulis 1992, sēj. I, 305. lpp.). Подтверждения общности происхождения этих лексем обнаруживаются в этимологических словарях М. Фасмера и К. Карулиса, где помимо указанных слов приводится областное *говядо* – в значении ‘крупный рогатый скот’. Там же выводятся древнейшие параллели не только из индоевропейских языков. Среди них наиболее убедительными из-за прозрачности фонетического сходства являются архаичное латышское *govis* ‘корова’ (<*guou-is), до сих пор сохранившееся в восточных говорах, древнеиндийское *gāuṣ*, авестийское *gāuṣ-*, скифское *gau* в значении ‘корова’, ‘крупный рогатый скот’ и др. (Фасмер т. I, с. 425; Karulis sēj. I, 305. lpp.). Это дало основание для выведения индоевропейской основы, от которой, предположительно,

была образована древнейшая лексема *g(u)ḃi-s в значении ‘крупный (рогатый) скот’ (*Karulis* sej. I, 305. lpp.). Относительно *наименования экскремента*, созвучного приведенным примерам, М. Фасмер допускает, что оно, возможно, также родственно *говядо* ‘бык’ и первоначально означало ‘коровий помёт’ (Фасмер т. I, с. 424). Вероятно, значительно позднее, когда сей продукт животного происхождения стал повсеместно использоваться в сельском хозяйстве в качестве удобрения, за ним закрепилось наименование по признаку применяемого к нему действия – *навоз* – семантика которого лишена негативности в отличие от рассматриваемого выше слова. В связи с этим следует отметить, что в словаре М. Фасмера есть указание на предположительную связь данной лексемы с церковнославянским *огавити*, а также с образованиями со сходными значениями в других языках: в словенском ‘мерзкий’, в древнеиндийском ‘нечистоты, грязь’, ‘испражняется’, авестийским и армянским ‘помёт’, ‘навоз’ (Фасмер т. I, с. 424). Это в очередной раз является подтверждением семантической многоаспектности общей древней праосновы и дальнейшей её дистрибуции, возникшей в доисторическую пору. Кстати, уже значительно позднее, говоря об органических удобрениях, стало принятым употреблять слово латинского происхождения *фекалии*, которое воспринимается в качестве термина и лишено отрицательной коннотации: *фекалии* – *снец.* органическое удобрение, состоящее из мочи и кала человека [От лат. *faex, faecis* – осадок, отстой] (*СРЯ* т. IV, с. 557).

В то же время восприятие человеческих экскрементов также и в качестве грязи или ненужных отходов, породило к ним отношение как к чему-то негативному, от чего следует избавляться. В житейской практике, как правило, избавляются от мусора и от сора. В словаре, составленном Владимиром Далем, дано следующее определение сора: *Сор* ... дрянь, дрязг, пыль и пушина, обрезки, негодные и брошенные остатки, намошенная ногами ... просохлая грязь; обивки, мелочь, всё что выметают из жилья или выкидывают, как негодное (*Даль* 1978–1982, т. IV, с. 276). Ниже уточняется, что в говорах, например, вологодском (николаевском), *сор* также и ‘навоз’ (там же, с. 276). Анализируя эту лексему, исследователь в качестве иллюстраций к существительному *сор* приводит адъективные производные, например: *соровая, сорная* (яма и корзина), *сороватый* (т. е. сорный в меньшей степени); и далее уже секундарные субстантивы – *сорность, сороватость, соровщик* – ‘мусорщик, парашник, выгребщик, золотарь, дермовщик, отходник’ (*Даль*, с. 276–277). Наблюдения В. Даля подводят к мысли о том, что однокоренной с существительным *сор* глагол *сорить* непосредственным образом связан с выходящим за рамки литературного языка наименованием процесса, который можно охарактеризовать как эвакуация продуктов обмена веществ из кишечника. Возникает классическая, с точки зрения лингвистов-историков, параллель, представленная чередованием *сер-* / *сор-*. Разъяснение последующей трансформации значений, заложенных в семантике исходной для них праосновы, попытаемся обнаружить, обратившись к этимологическим исследованиям. Данные словарной статьи, подготовленной этимологом П. Я. Черных, убеждают в том, что лексема *сор* “несомненно, находится в связи с вульг. глаг. *серу*” (Черных 1994, т. II, с. 188). Это умозаключение проиллюстрировано цитатой из жития протопopa Аввакума с лингвистическим обоснованием: “*сереть и сцывать под себя...*, инф. *срати* (< о.-с. *sъrati)” (там же, с. 188). Кроме того, в качестве аргументов приводятся идентичные с фонологической точки зрения образования из других славянских языков, что и позволяет вывести общеславянскую инфинитивную основу. Исходя из этого, исследователь заключает, что “старшее значение слова *сор* могло быть ‘экскременты’ (ср. значение ‘навоз’ в говорах)” (Черных там же). Подтверждая этот вывод, автор словаря указывает на возможные “родственные отношения” этого слова с подобными образованиями в исландском *skarn* (со значением: ‘нечистоты, грязь’) и греческом *skōr* (‘экскременты’).

ты, навоз’) и несомненные с авестийским *sairyā-* (‘навоз, сор’) и латышским *sārņi* (‘шлак, осадок, грязь’) (*Черных* там же). Относительно балтийского элемента следует добавить, что в современном латышском слово *sārņi* является многозначным и наряду с основными значениями ‘грязь, нечистоты, шлаки (в металлургии)’ в нём развилось переносное значение ‘пережитки’. Однако, по мнению этимолога К. Карулиса, в слове *sārņi*, возможно, произошла контаминация значений, заложенных в семантике двух индоевропейских основ – **ser-* ‘течь, быстро двигаться’ и **sker-* ‘испражнения, навоз’. В качестве аргумента им приводятся лексемы из литовского и латышского, восходящие к **ser-*, но родственные лексеме *sārņi*, это *sarvalai* и *strutas* ‘гной’ (*Karulis* sēj. II, 156. – 157. lpp.). Кроме того, в литовском можно обнаружить субстантив *sr’utos* ‘навозная жижа’ (*Либериус* 1988, с. 717). Поэтому, не оспаривая приведённую выше точку зрения, можно, однако, предположить, что семантическая конденсация, присущая праиндоевропейской основе **sker-*, в процессе исторических преобразований трансформировалась в синтез свойств, характерных для синкретичных субстанций. В дальнейшем, на новом витке спирали развития, это привело к становлению дифференциальных признаков, повлекшему также и формальное расподобление, что в конечном итоге закрепились в виде самостоятельных частеречных образований.

В современном русском языке по отношению к рассмотренному процессу обычно применяется глагол *испражниться/ испражняться*, трактовка которого даётся в СРЯ без каких-либо помет: “*выделить из организма каловые массы через прямую кишку*” (СРЯ т. I, с. 685). Эта лексема, в отличие от предыдущей, лишена негативной коннотации, вероятно, оттого, что семантика корневой морфемы обнаруживает связь с представлениями об “освобождении” (в данном случае от балластных органических образований). Подтверждением этой мысли может послужить иллюстративный материал из словаря И. И. Срезневского к прилагательному, этимологически связанному с названным глаголом, а именно *порожънии – порожъный*. Общность происхождения, в частности, обнаруживает себя в виде классического соотношения по формуле **tort* в качестве полногласного и неполногласного вариантов: *порож-/праж-*. Основными значениями прилагательного, отмеченными исследователем, являются: ‘свободный’, ‘праздничный’, ‘не занятый’, ‘пустой’ (*Срезневский* 1893–1903, т. II, с. 1210 – 1211). Не обходит своим вниманием идентичные лексические образования и такой ценитель слова, как Владимир Даль. Его словарные статьи, как всегда, поражают многообразием примеров. Для сравнения приведём лишь некоторые лексемы, этимологически связанные со словами, которые сохранились до наших дней и которые также приводятся исследователем (т. е. *испражняться* и *испражнение*): *испоражнивать, испорозить, испразднить* со значениями ‘опоражнивать’, ‘опрастывать’, ‘упразднить’; *испораживание, испразднение* с соответствующими значениями действия по глаголу; *испраздни(я)тель, -ница* – со значениями ‘опрастывающий’, ‘упраздняющий что-либо’ и др. (*Даль* т. II, с. 56). Налицо удивительные семантические дублеты, благодаря которым кажущиеся на первый взгляд противоположные явления оказываются тесно связанными с лингвистических позиций.

Восприятие продуктов жизнедеятельности человеческого организма как субстанции, требующей устранения, со временем породило к связанному с этим физиологическому процессу особое (щепетильное) отношение, вызванное также проблемами гигиенического характера. Вероятно поэтому возникновение *туалетов*, в первую очередь, следует связывать с необходимостью соблюдения гигиенических и санитарных норм, что было продиктовано особенностями совместного проживания большого количества людей (например, в городах). Сразу хочется обратить внимание, что исследование “туалетной темы” с точки зрения лексики обнаруживает нередкую победу “иноземцев” над исконными славянизмами. Слово *туалет* в

значении ‘помещение для отправления естественных надобностей’ заимствовано из французского, как, впрочем, и слово ‘сортир’ *sortir*, означавшее ‘выходить’ (Фасмер т. III, с. 725), которое в “Словаре русского языка” даётся с пометой *груб. прост.* (СРЯ т. IV, с. 423; с. 204). Однако, являясь многозначной, лексема *туалет* обрела значение ‘отхожее место’ лишь в прошлом веке, причём в начале это относилось лишь к названиям “уборных в некоторых общественных местах (театрах, кино, ресторанах; спец.)” (ТСУ т. IV, с. 821– 822). В 40-е годы прошлого века появились даже такие новообразования, как *туалетчик* и *туалетчица*, т. е. “работник при туалете” (ТСУ т. IV, с. 822). Однако сейчас, если хотят подчеркнуть такую особенность туалета, как его предназначение для нужд масс, то так и говорят – *общественный туалет*. Примечательно, что ещё в словаре В. И. Даля слово *туалет* даётся со значениями ‘убор’, ‘одевание’, ‘одеянье, наряжанье, наряд’ ‘уборный стол с зеркалом и всеми принадлежностями’ (исключая значение ‘отхожее место’) (Даль т. IV, с. 439), т. е. в некоторой степени сохраняя в своих значениях семантику французского *toilette*, как уменьшительного от *toile*, буквально означавшего ‘холст’, полотно (ср. лат. *tēla* ‘ткань’).

Синоним слова *туалет* – *уборная*, это субстантивированная отглагольная форма славянского происхождения, этимологически связанная с глаголом *братъ*, который восходит к древнейшим индоевропейским образованиям. Лексема *уборная* имеет примерно ту же историю развития значений, что и *туалет*. Её первоначальное значение: “Комната, в которой одеваются, приводят в порядок свой внешний вид” рассматривается в СРЯ (т. IV, с. 446) в качестве устаревшего. В то же время *уборная* до сих пор употребляется в значении ‘помещение в театре, где актёры гримируются и одеваются перед выходом на сцену’ (СРЯ там же), хотя сегодня предпочитают говорить всё же не *уборная*, а *гримёрная*, или же уточняют: *артистическая уборная*. Последнее значение этого слова ‘помещение, оборудованное для отправления естественных надобностей’ (ТСУ т. IV, с. 862) закрепилось за ним в первой половине прошлого века, т. е. не так уж давно. Для сравнения – в словаре В. И. Даля даётся лишь следующее определение: “Уборная – ж. комната, в коей одеваются, убираются, наряжаются, моются, притираются и пр.” (Даль т. IV, с. 458). К заимствованным наименованиям туалета можно причислить и слово *клозет*, не столь уж часто употребляемое в русском языке и относящееся к устаревшим (СРЯ т. II, с. 59). Это слово французского происхождения, буквально означавшее ‘запирающаяся комната’ *closet*, оно закрепилось также и в английском – *closet*, а в русский язык проникло предположительно через немецкий *Klosett* (Фасмер т. II, с. 252). Существуют и некоторые специальные названия туалета, которые используются среди представителей определённых профессий или социальных групп, например, у моряков – *гальюн*, а среди уголовников – *парашиа*. *Гальюн* – от голландского *galjoen*: 1) на старинных парусных судах – передняя надводная часть корабля, нависающая над водой, на которой устраивались отхожие места; 2) уборная на судне (СИС с. 109). С точки зрения воровского жаргона лексема *парашиа* является многозначной. В “Словаре московского арга” находим, что *парашиа*: 1) ночной горшок, нужник, туалет, отхожее место... 2) что-л. плохое, некачественное, грязное, неприятное; невкусное, плохо приготовленное, неинтересное и т.п. ... 3) сплетня, слух (обычно дурные, клеветнические, ложные). “... От уг. ‘парашиа’ – ведро с крышкой для испражнений, обычно в одиночной камере, а также милиция; возм. также от устар. диал. ‘парашиник’ – золотарь, тот, кто занимается очисткой нужных мест, “парашиничат” – заниматься этим делом, ‘парашиничанье’, ‘парашиничество’ – соответствующий промысел” (Елистратов 1994, с. 315). Итак, лексема *парашиа* означает не только отдельное помещение, но сантехническое оборудование специального назначения, иногда даже унитаз. Кстати, уни-

таз – ‘раковина для стока нечистот в уборных, оборудованных канализацией’ – является, с одной стороны, производным от названия фирмы “Unitas” (СРЯ т. IV, с. 498). С другой стороны, этимологически это слово восходит к латинскому *unitas* в значении ‘единство’, поскольку в 1885 году впервые была создана конструкция, объединяющая в одно целое составные части этого деликатного сантехнического приспособления (соединение раковины и стока для нечистот) (*Сосуды тайн* с. 11).

Наблюдения за формированием лексики, “обслуживающей” туалетную тему, в целом отражают тенденции пополнения словарного запаса: с одной стороны, это расширение значений, присущих слову, с другой – это заимствования. Как говорилось выше, нередко собственно славянская лексика бывает отторгнута и отнесена в разряд слов, которые даны в словаре с пометой *прост.* Так, раньше в России, говоря об отхожем месте, также пользовались лексемой ‘нужник’. Теперь, по словарным данным, такое допускается лишь в просторечии (СРЯ т. II, с. 514). В то же время современные литераторы не всегда брезгают просторечной лексикой, находя её более колоритной и отвечающей современному стилю – говорить обо всём без стеснения. Поэтому хлёсткие слова *нужник*, *сортир* и им подобные можно встретить не только на страницах печатных изданий, но и услышать с экрана телевизора (даже из уст президента России). Означает ли это, что идёт процесс стирания стилистических граней? Очень похоже. Или, может быть, не только стилистических? И тогда, в скором будущем, мы вообще перестанем чего-либо стесняться... как в древности.

ЛИТЕРАТУРА

- Даль, Владимир. *Толковый словарь живого великорусского языка*. Т. 1–4. [Репринтное изд.]. Москва, 1978–1982.
- Диманте, И. В. Естественная нужда в языковом контексте (К проблеме пополнения словарного запаса русского языка). В кн.: *Русское слово в мировой культуре: Материалы X Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы*. “Русский язык и русская речь сегодня: старое – новое – заимствованное”. С.-Петербург, 2003, с. 387–393.
- Диманте, И. В. Кто такой золотарь? В кн.: *X Международная научная конференция по функциональной лингвистике: Сборник научных докладов*. Ялта, 2003, с. 95–96.
- Диманте, И. В. Слова деликатного свойства. В кн.: *XI Международная конференция по функциональной лингвистике. “Функциональное описание естественного языка и его единиц”*: Сборник научных докладов. Ялта; Симферополь, 2004, с. 105–107.
- Елистратов, В. С. *Словарь московского арго: Материалы 1980–1994 гг.* Москва, 1994.
- Либериц, Антанас *Литовско-русский словарь*. Вильнюс, 1988.
- Словарь иностранных слов* [СИС]. Москва, 1985.
- Сосуды тайн: Туалеты и урны в культурах народов мира*. Санкт-Петербург, 2002.
- Срезневский, И. И. *Материалы для словаря древнерусского языка*. В 3-х томах. Санкт-Петербург. 1893–1903.
- Словарь русского языка* [СРЯ]. Под ред. А. П. Евгеньевой. В 4-х томах. Москва, 1981–1984.
- Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)* [Ст сл]. Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Москва, 1994.
- Толковый словарь русского языка* [ТСУ]. Ред. Д. Ушаков. В 4-х томах. Москва, 1996.
- Фасмер, М. *Этимологический словарь русского языка*. В 4-х томах. Москва, 1986–1987.
- Черных, П. Я. *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. Т. 1–2. Москва, 1994.
- Karulis, K. *Latviešu etimoloģijas vārdnīca*. 2 sēj. Rīga, 1992.

Kopsavilkums

Raksts ir veltīts tādām krievu valodas vēstures jautājumam kā vārdu krājuma paplašināšanās. Tiek aplūkoti vārddarināšanas procesi un dažas vārda leksiskās nozīmes pārmaiņas. Valodai attīstoties, vārdu savstarpējie sakari var mainīties, var arī pazust. Vārdu radniecība šajos gadījumos pierādāma ar etimoloģisko analīzi. Turklāt krievu valodas dažādu vārdu analīze var būt sekmīga, ja balstās uz slāvu un baltu valodu radniecības faktiem. Rakstā tiek atspoguļota arī slāvismu un aizguvumu savstarpējā konkurence.

Atslēgvārdi: valodas pamatleksika, aizguvumi, leksiskā nozīme, tipoloģiskie procesi, slāvu un baltu valodas.

Summary

The article is devoted to development problem of Russian language placing an emphasis on increasing vocabulary, loan words and words of Russian origin. Moreover the article considers competition between words of Russian origin and loan words, and the origin of synonyms is also discussed. Word formation process and connections between word meanings that joins in the same word formation family are also considered.

In some cases it is possible to find cognate links of words by reconstructing their initial meaning bringing it under etymological research. In connection with mentioned above the problem of poly-semantic words is discussed.

All problems are considered under a delicate topic that can be called "Words we are ashamed of".

Keywords: elementary vocabulary, loanwords, lexical meaning, typological processes, Slavonic and Baltic languages.

Особенности передачи семантики антропонимов в переводе художественного текста

Antroponīmu semantikas atveides specifika literārā teksta tulkojumā

Wiedergabe der Anthroponymensemantik in der Übersetzung eines literarischen Textes

Жанна Борман

Rīgas 40. vidusskola, Tērbatas 15/17, Rīga, LV–1011
janna76lv@yahoo.de

Семантика имен собственных (ИС) художественного текста богаче семантики ИС в языке, поэтому при переводе художественного текста не всегда возможно ограничиться лишь передачей фонографической оболочки ИС. В статье анализируется передача семантики ИС «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина в переводе на немецкий и латышский языки.

Ключевые слова: семантика, имя собственное, теория перевода, художественный текст.

Когда речь идет об именах собственных (ИС), то обычно говорят не о переводе, а об их передаче в тексте перевода; иначе, по словам Х. Калверкемпера, *Churchill* превратился бы в немецком переводе в *Kirchberg*, *Casanova* в *Neuhaus*, *Shakespeare* в *Schwingespeer*, а *Bach* стал бы во французском переводе *Ruisseau* (*Kalverkämper* 1996, S. 1020). Однако в художественном тексте, где все стремится быть мотивированным, та же установка характеризует и антропонимы. ИС художественного текста – это ИС в речи, соответственно их семантика богаче, чем семантика ИС в языке. Кроме того, семантика ИС художественного текста обогащается художественно-изобразительными «приращениями» смысла (*Виноградов* 1981).

В отношении ИС художественного текста может быть в некоторых случаях применен и преобразующий перевод, т.е. использование в качестве соответствия ИС, отличного от исходного (*Ермолович* 2001, с. 36). Продемонстрируем данное утверждение на примере передачи ИС *Балда* из «Сказки о попе и о работнике его Балде» А.С. Пушкина (1977, т. IV) в немецких и латышских переводах.

При передаче ИС *Балда* переводчики используют следующие эквиваленты:

Trottel – В. Грегер и М. Шмидт (*Puschkin* 1999),

Lümmel – В. Грегер (*Puschkin* 1950, Bd. III),

Flegel – Й. Гюнтер (*Puschkin* 1949, Bd. IV),

(*Muļķa*) *Antulis* – Ю. Ванагс (*Puškins* 1968, sēj. II),

Balda – Я. Плаудис (*Puškins* 1949).

ИС *Балда* обладает осознаваемой носителем языка связью с нарицательным *балда*, хотя в языке А. С. Пушкина (*СЯП* 2000) имя нарицательное *балда* не зафиксировано.

Приведем словарное толкование этого слова: *балда* – 1. Устар. ‘Тяжелый молот, употреблявшийся при горных работах и в кузницах’. 2. Устар. и обл. ‘Шишка, нарост (на дереве)’; ‘утолщение’. 3. Прост. бран. ‘Бестолковый, глупый человек’ (СРЯ 1999, т. I, с. 57).

Имя персонажа пушкинской сказки связано, по нашему мнению, с третьим и с первым значениями имени нарицательного *балда*. Бестолковый человек, простак (готов трудиться почти задаром) – так воспринимает *Балду* поп, когда нанимает его на работу. Но важно, что в тексте это значение опровергается: именно благодаря своему уму и хитрости *Балда* сумел выполнить поручение попа. Такие семы первого значения слова *балда*, как ‘сила’, ‘тяжесть’, ‘ударять’, тоже актуализированы в тексте: плата, которую взыскивает *Балда* с попа – три щелчка по лбу:

*С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика*

(Пушкин 1977, т. IV, с. 309).

Словарь В. И. Даля содержит, кроме указанных, следующие значения слова *балда*: обл. вологодск. ‘дылда, болван, балбес, долговзый и неуклюжий дурень’; ряз. ‘шалава, бестолковый’; ‘сплетник, баламут’; костр. ‘дурак, тупица, малоумный’ (Даль 2002, т. I, с. 98).

В четырех из пяти рассмотренных нами переводах текста сказки переводчики стремились передать значение имени нарицательного и использовали преобразующий перевод:

Навстречу ему Балда... (Пушкин 1977, т. IV, с. 305).
Dort begegnet ihm Trottel, der Wicht... (Puschkin 1999, S. 293).
Da trafer Lümmel, den Knecht... (Puschkin 1950, Bd. III, S. 363).
Da begegnet Flegeln er... (Puschkin 1949, Bd. IV, S. 172).
Preī Muļka Antulis nāk... (Puškins 1968, sēj. II, 303. lpp.).
Te preī šim Balda nāk... (Puškins 1949, 437. lpp.).

Сравним сначала эквиваленты, предложенные в немецких переводах. Все эти ИС образованы от нарицательных, ниже приводятся их словарные толкования:

Lümmel, der – umg. abwertend ‘Flegel, ungezogener, frecher Mensch’ (DWDS).
Lümmel, der – разг. ‘болван, шалопай, олух’ (HPC 1993, с. 572).

Trottel, der – umg. abwertend ‘einfältiger, dummer, ungeschickter, willensschwacher Mensch’ (DWDS); *Trottel, der* – разг. ‘дурак, идиот, глупец’ (HPC 1993, с. 854).

Flegel, der – 1. abwertend ‘ungeschliffener, grober Bursche’, 2. ‘Handgerät zum Dreschen, das aus einem kurzen Holzklöppel und einem langen starken Stiel besteht, die beide durch einen kurzen Riemen beweglich miteinander verbunden sind, Dreschflegel’ (DWDS); *Flegel, der* –1. ‘с.-х. цеп, молотило’ 2. ‘невежа, грубиян, хам’ (HPC 1993, с. 321).

Очевидно, что ИС *Flegel*, использованное Й. Гюнтером (Puschkin 1949, Bd. IV), в большей степени соответствует русскому слову *балда*, т.к. включает в себя два значения, которые актуализированы в пушкинской сказке: ‘сельскохозяйственное орудие’ и ‘бестолковый человек’. Кроме того, *Flegel* в значении ‘сельскохозяйственное орудие’ является темой одной из сказок братьев Гримм – *Der Dreschflegel vom Himmel*

(KHM S. 112) и тем самым может вызывать у читателя перевода ассоциации с данной сказкой.

Немецкие эквиваленты *Flegel* и *Lümmel* являются синонимами (Duden, 1986, S. 238). *Trottel* является синонимом слова *Dummkopf* и приводится в одном синонимическом ряду со словом *Dümmling* (там же, 171), которое встречается в качестве номинации персонажа в немецких сказках (Kopffhammer 1995, S. 574).

Латышский эквивалент *Muļķa Antulis*, который использует Ю. Ванас (Puškina 1968, sēj. II), есть только в процитированном контексте, в дальнейшем *Balda* именуется просто *Antulis*. Форма *Muļķa Antulis* образована по модели, характерной для латышского языка: «родительный падеж фамилии + имя», ср.: *Sudrabu Edžus* (MLLVG 1959, 392. lpp.).

Muļķa – родительный падеж от *muļķis* – ‘глупец, дурак’, ср.: *muļķis* – ‘cilvēks, kam ir nepietiekami attīstīts, arī nepietiekami aktivizēts prāts’ (LLVV 1972, sēj.V, 289. lpp.). ИС *Antulis* соотносится, как мы думаем, с лтш. *antiņš* – разг. ‘простак, дурачок’, ср.: *antiņš* – sar., niev. ‘Naivs, lēticīgs, arī vientiesīgs cilvēks’ (LLVV 1972, sēj. I, 176. lpp.), что примерно соответствует третьему значению слова *balda*. ИС *Antulis* может вызывать у латышского читателя также ассоциации с латышскими сказками, где встречаются: *Stiprais Ansis*, который нанялся арендатором к хозяину, а в качестве платы просил разрешения трижды ударить хозяина по лбу (Šmits 1925–1937, sēj.VIII); *Gudrais Ansis*, который соревновался с чертом (там же); *Dumais Ancis*, который служил черту (Šmits 1925–1937, sēj. XI). Родительный падеж от *muļķis* – *muļķa* тоже можно встретить в обозначении персонажа в латышской сказке, например, *muļķa vīrs* (Šmits 1925–1937, sēj.XI).

Я. Плаудис (Puškina 1949) использует в своем переводе ономастическое соответствие, т.е. соответствие, воссоздающее фонографическую оболочку слова с той или иной степенью близости к оригиналу (Ермолович 2001, с. 35) – *Balda*. Но при этом связь со значением имени нарицательного утрачивается.

В речи *Besa*, когда тот пытается увещевать *Baldu*, использована форма имени с экспрессивным суффиксом – *Балдушка*, значение которой можно определить в данном случае как ‘лстиво, заискивающе’. Почти во всех переводах тоже использованы экспрессивные формы, ср.:

Балдушка, погоди ты морищить море... (Пушкин 1977, т. IV, с. 307)

Trottel, wart, das hat noch Weile... (Puschkin 1999, S. 295)

Flegelchen, halt ein, das Meer aufzurühren (Puschkin 1949, Bd. IV, S. 174)

Lümmelchen, wart mit diesen Dingen... (Puschkin 1950, Bd.III, S. 366)

Klau, Antulī! Negriez tu jūru grīstē! (Puškina 1968, sēj. II, lpp. 306.)

Baldulī, nesteidzies raukt jūras jomu... (Puškina 1949, 439. lpp.).

В немецких переводах В. Грегера (Puschkin 1950, Bd. III) и Й. Гюнтера (Puschkin 1949, Bd. IV) использованы экспрессивные формы с деминутивным суффиксом *-chen* (Duden 1998, S. 460), а в латышских переводах – с деминутивным суффиксом *-ī* (MLLVG 1959, 130. lpp.). В переводе В. Грегера и М. Шмидт (Puschkin 1999) в этом контексте экспрессивность оригинала утрачивается, т.к. переводчики не используют особой формы имени, хотя в другом контексте в речи *Besa* использована форма *Trottelchen*:

Vom aus моря вылез старый Бес:

Da kroch ein alter Teufel aus dem Naß:

«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
(Пушкин 1977, т. IV, с. 306)

„Ei, Trottelchen, was ist denn das?“
(Puschkin 1999, S. 295).

В переводе В. Грегера и М. Шмидт есть и другие производные формы от *Trottel* (*Trottelmann, Trottelbär, Trottelchen*), но они соответствуют пушкинскому *Балда*:

1) в речи попа:

Поди-ка сюда,

Верный мой работник Балда.

(Пушкин 1977, т. I, с. 306)

...Komm doch mal her,

Mein treuer Trottelbär!

(Puschkin 1999, S. 294).

Компонент *-bär* в имени *Trottelbär* соотносится с именем нарицательным: *Bär, der* – 1. ‘großes, gedrungen gebautes und außerordentlich starkes Raubtier mit zottigem Pelz, kurzen Ohren und Stummelschwanz, das noch in den europäischen Hochgebirgen anzutreffen ist’; 2. Techn. ‘Klotz zum Einrammen von Pfählen, Maschinenhammer’ (*DWDS*), ср. *Bär, der* 1. зоол. ‘медведь (*Ursus*)’ 2. тех. ‘баба (копра, молота)’ (*НЭС* 1993, с. 129).

Семы первого значения ‘большой’, ‘сильный’ и второго значения ‘орудие’ соотносятся со значениями нарицательного имени *балда*, поэтому и само ИС *Trottelbär* является, на наш взгляд, уместным в переводе. К тому же компонент **ber(a)nu- ‘Bär’* является одним из возможных компонентов древних немецких двухосновных личных имен: *Bernfried, Bernhard* (*Duden. Das grosse Vornamenlexikon* 1998, S. 67).

Появление такого ИС в переводе объясняется необходимостью следовать законам рифмы (*her – Trottelbär*).

2) в речи бесенка:

Здравствуй, Балда-мужичок...

(Пушкин 1977 т. IV, с. 307)

Gegrüßt seid, Bauer Trottelmann...

(Puschkin 1999, S. 295).

ИС *Trottelmann* имеет формальный показатель немецких фамилий и личных имен *-mann* (Александрова 2000, с.239), чем акцентируется, что и *Trottel* является ИС. Кроме того, в данном контексте эта форма может объясняться стремлением переводчиков передать особое употребление ИС *Балда* в оригинале – с приложением (*Балда-мужичок*).

3) в авторской речи:

Пошел Балда в ближний лесок...

(Пушкин 1977 т. IV, с. 307)

Trottelchen rennt in den Wald...

(Puschkin 1999, S. 295).

В данном контексте использование экспрессивной формы может отражать авторское отношение к персонажу, симпатию к своему герою, которая, если и не выражена в этом минимальном контексте, то в контексте всей сказки присутствует.

Производные формы от изначальной, соответствующей ИС *Балда*, есть и в переводе В. Грегера (*Puschkin* 1950, В. III), где *Lümmelmann* используется параллельно с *Lümmel* как в авторской речи, так и в прямой речи персонажей, и в переводе Ю. Вангса (*Puškins* 1968, sēj. II), где производное от *Antulis* ИС *Antulēns* имеет особое значение:

Обогнал меня меньшей Балда!

(Пушкин 1977 т. IV, с. 308)

Mazais Antulēns noskrēja mani!

(Puškins 1968, sēj. II, 307. lpp.).

Благодаря деминутивному суффиксу *-ēn-* (*MLLVG* 1959, 109. lpp.) ИС *Antulēns* передает значение словосочетания *меньшой Балда* из текста оригинала, т.е. значение ‘маленький’ акцентируется в переводе, т.к. передается дважды: *mazais + Antulēns*.

ИС *Балда* называет главного персонажа «Сказки о попе и о работнике его Балде». Благодаря прозрачной внутренней форме, которая актуализируется в тексте сказки, это имя выполняет функцию характеристики. Для того чтобы не утратить эту функцию в переводном тексте, переводчики используют преобразующий перевод – создают

имена с живой внутренней формой. Я. Плаудис (*Puškins* 1949) использует в своем переводе ономастическое соответствие *Balda*, при этом функция характеристики не реализуется.

Антропонимы художественного текста вместе с другими языковыми средствами участвуют в создании картины мира писателя. Включая в различные контексты, ИС становятся важным звеном структурно-содержательной, тематической, композиционной стороны произведения; поэтому согласимся с известным переводчиком Норой Галь в том, что необходимо искать какие-то замены, чтобы не тускнели краски автора и ничего не терял читатель. “Что-то выйдет удачно, что-то похуже. Одно плохо *всегда* - обычное оправдание, сноска: „*непереводимая игра слов*”. Это - расписка переводчика в собственном бессилии» (Галь 1987, с. 161).

ЛИТЕРАТУРА

- Александрова, Т. С., Александрова, Т. С., Добровольский, Д. О., Салахов, Р. А. *Словарь немецких личных имен*: Происхождение. Значение. Употребление. Москва, 2000.
- Виноградов, В. В. *Проблемы русской стилистики*. Москва, 1981.
- Галь, Н. *Слово живое и мертвое*. Москва, 1987.
- Даль, В. И. *Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах*. Москва, 2002.
- Ермолович, Д. И. *Имена собственные на стыке языков и культур*. Москва, 2001.
- Словарь русского языка [СРЯ]. В 4 томах. Ред. А. П. Евгеньева. Москва, 1999.
- Немецко-русский словарь [НРС]. Москва, 1993.
- Пушкин, А. С. *Полное собрание сочинений в 10 томах*. Т. 4. Ленинград, 1977.
- Словарь языка Пушкина в 4 томах [СЯП]. Москва, 2000.
- Duden. *Das große Vornamenlexikon*. Mannheim. Leipzig, Wien, Zürich, 1998.
- Duden. *Grammatik Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache*. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1998.
- Duden. *Sinn- und sachverwandte Wörter*. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1986.
- Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts [DWDS]. [См. интернет 2006-04-02]. Доступно: <http://www.dwds.de/>
- Kalverkämper, H. *Namen im Sprach Austausch: Namenübersetzung*. In: *Namenforschung: Ein internationales Handbuch zur Onomastik*. In 3 Bd. 2. Teilband. Berlin; New York, 1996, S. 1018-1025.
- Grimm, J. und W. *Kinder- und Hausmärchen [KHM]*. Bern: edition amalia. [См. интернет 2006-04-02]. Доступно: <http://www.maerchenlexikon.de/khm/inhalt.htm>
- Kopffhammer, G. *Stilistische Funktion der Namen in Märchen und Sagen*. In: *Namenforschung: Ein internationales Handbuch zur Onomastik*. In 3 Bd. Bd 1. Berlin; New York, 1995, S. 573–576.
- Latviešu literārās valodas vārdnīca [LLVV]. 8 sējums. Rīga: Zinātne, 1972.
- Mūsdienų latviešu literārās valodas gramatika [MLLVG]. Sēj. 1. Rīga, 1959.
- Puschkin, A. *Ausgewählte Werke*. In 4 Bänden. Guenther, J. (Hrsg.). Berlin, 1949.
- Puschkin, A. *Ausgewählte Werke in vier Bänden*. Neustadt, W. (Hrsg.). Moskau, 1950.
- Puschkin, A. *Poeme und Märchen*. In: *Ausgewählte Werke*. In 3 Bänden. Raab, H. (Hrsg.). Bd.1. Berlin, 1999.
- Puškins, A. *Izlase*. Rīga, 1949.
- Puškins, A. *Kopotī raksti piecos sējumos*. Red. J. Vanags. Rīga, 1968.
- Šmits, P. *Latviešu tautas pasakas un teikas*. XV sējumi. (1925–1937) [См. интернет 2006-04-02]. Доступно: <http://www.ailab.lv/pasakas/>

Kopsavilkums

Literārā teksta īpašvārdu semantika ir bagātāka par valodas īpašvārdu semantiku. Rakstā tiek aplūkotas antroponīmu semantikas atveides īpatnības literārā teksta tulkojumā, pamatojoties uz A. Puškina „Pasakas par popu un viņa kalpu Baldu” tulkojumu materiāla.

Atslēgvārdi: semantika, īpašvārds, tulkošanas teorija, daiļdarbs.

Zusammenfassung

Die Eigennamen darunter auch Anthroponyme (Personennamen) können wie auch andere Wörter mit Hilfe linguistischer Methoden untersucht werden. Die Anthroponyme eines literarischen Textes haben ihre Besonderheiten in der Semantik. Sie werden einerseits vom anthroponymischen System der Sprache determiniert, andererseits werden sie vom Schriftsteller für literarische Zwecke benutzt.

Transformation des Namens ist in der literarischen Übersetzung eine der Möglichkeiten, wie man die Semantik dieses Namens wiedergeben kann. Im Artikel wird es am Beispiel der Übersetzungen von einem Märchen A. Puschkins ins Deutsche und Lettische gezeigt.

Schlüsselwörter: Semantik, Eigenname, Übersetzungstheorie, literarischer Text.

LU Raksti. 707. sēj. Valodniecība, 2006

LU Akadēmiskais apgāds
Baznīcas ielā 5, Rīgā, LV-1010
Tālr. 7034535